

Галина Беляничева

Галина Беляничева — член Союза писателей России и, пожалуй, один из самых продуктивных амурских прозаиков. В частности, в альманахе «Приамурье» в последние годы печатались большая подборка ее рассказов из цикла «Поселок Аэропорт» (1995), фантастическая повесть «Увильнительная с того света» (1997) и повесть «Дневник Хромоножки» (2000).

У Беляничевой весьма своеобразное видение мира. Она пишет о современности, все детали и события вполне реалистичны и узнаваемы. Однако в самой подаче, в трактовке этих узнаваемых реалий есть что-то неуловимо сказочное. К тому же у нее непременно встретишь персонажей, которые явно не от мира сего — и вообще непонятно, как они тут очутились. Сначала поглядываешь на них обескураженно и с холодком, но потом оттаиваешь, без сопротивления погружаясь в эту созданную писательницей «жизнь со сдвигом».

Повесть

СТЕПЬ И ТАБУН

Сельские хроники

С правого берега Великую реку теснит гряда сопок, в паводки заставляя ее воды выплескиваться на левую сторону. За тысячелетия Великая река намыла по левому берегу широкую долину, отодвинув на край ее горный хребет и создав широкий проход для успокоения своего буйства. Теперь по левому берегу от русла и до приземистого горного массива расстилается низкая равнина с лугами, полями, лесками, речными протоками и ясными, как глаза, озерками.

В двадцатикилометровом промежутке между селами Ипатьево и Матвеево долину повдоль разрезает идущая в верховья реки автомобильная дорога, местами открытая, местами обсаженная тополями.

Осенью равнина затягивается бурой, густой, как медвежья шуба, травой. Кудлатые буряны — это все, что за последнее время производит степное пространство. Жесткие и колючие стебли захватили пастбище бывшего ипатьевского совхозного стада, которого больше нет, ипатьевские зерновые поля, которые больше не засеваются, окружили кочковатой щетиной озера, в которых после двух-трех проходов сетями не остается рыбы.

Солнечным октябрьским деньком, которые на Амуре до бескрайности растягивают бабье лето, на дороге остановился синий джип. Из него вышел невысокий поджарый человек с волевым узким лицом, карими глазами и светлыми шершавыми усиками под прямым хищноватым носом. Он обвел взглядом равнину, гревшую на припеке коричневые, в оттенках, меха. Быстрые глаза его не упустили ни одну из красот торжествующего в беззаботности и лени пространства. Хищноватый нос наблюдавшего удовлетворенно подергался, и человек, словно ставя точку на всех предыдущих исканиях, решенно сказал:

— Вот эта степь! И здесь будет табун!

Сказав такие слова, человек вошел в траву. Спелые семена упали на штанины светлых, хорошо отглаженных брюк, а носки зеркально блестящих туфель замутились пыльным налетом.

Человек рассмеялся, оглядел штанины, и легкой, сухощавой рукой обтряс с них колючки.

Глава I.

Развалины животноводческого городка

В погоде и окружающей обстановке ничего не переменилось, когда на другой день на вершине спуска к речке Синюшке и селу Ипатьеву появился знакомый джип. Вел его все тот же худощавый незнакомец со светлыми усиками. Рядом сидел черноусый вальяжный красавец с редкими серебряными нитями в черной густой шевелюре, с масляно-карими глазами и начавшим слегка оплывать гладким и свежим лицом.

Светлоусого эти места видели во второй раз. Черноусого эти места хорошо знали как Геннадия Андреевича Лудова, в

прошлом директора пригородного совхоза, в который входило село Ипатьево, а ныне председателя подгороднего товарищества, которое отлепилось от Ипатьева, но по-прежнему владело в селе и вокруг него бывшей совхозной собственностью.

Джип скатился с горы, прошел по мосту через реку Синюшку и, не подымаясь в деревню, направился по обходящей Ипатьево дороге.

Светлоусый скосил глаз на мрачный силуэт деревянной церкви, похожей на почерневшую сгоря вдовицу, на стоявшую позади нее новеньющую часовню с серебряной маковкой и, ничего не спросив, повел машину дальше.

В конце Ипатьева из села к трассе выбегала, перекрешивалась с нею и продолжалась дальше проселочная дорога, уходившая к плохо видимым из-за кустарника дальним строениям. Ведущий машину вопросительно глянул на пассажира, но, так как тот не подал знака, проехал по шоссе дальше.

Трасса по дуге обогнула заросли кустарников, и перед едущими открылся бывший животноводческий городок, вернее, то, что от него осталось. В этом месте от трассы к городку шла насыпная дорога, и светлоусый, не дожидаясь команды черноусого, на нее свернул.

Джип потащился по колдобинам, где возможно — объезжая, где невозможно — вползая в яму, так как дорога была порушена не меньше, чем сам городок, как будто и из нее тоже выдирали кусками грунт. Подступавшие к дороге пристрастные бетонно-кирпичные коровники стояли не то чтобы обобранными до нитки — они были оголены целыми пролетами. Вся деревянная и металлическая оснастка — рамы, косяки, двери, перегородки, каркасы крыши и кровля — все было содрано и унесено. Кое-где сняты потолочные плиты. От обрудования не осталось и следа. Уцелели бетонные пролеты и куски кирпичной кладки, которую невозможно было разбить. Внутри и снаружи строений возвышались кучи битого мусора, валялись обрушенные балки, змеями подымались концы металлических тросов. Разоренные помещения зияли пустыми глазницами окон, провалами в стенах, дырами в потолках.

Светлоусый поворачивал голову вправо и влево — везде были разрушения одинаковой силы.

— У вас тут что, Мамай прошел? — мрачно спросил он.

— Кое-что мы сняли, остальное население растащило. Деревня-то рядом, — до равнодушия спокойно объяснил бывший директор.

Лицо светлоусого нервно вытянулось. Его ошеломила картина бессмысленного уничтожения. «Ну, Ленька Оруджий, куда тебя занесло?» — мысленно посочувствовал он себе.

Посаженный в степи животноводческий городок, не испытывая недостатка в пространстве, разросся широко и вольготно. Коровники отстояли на почтительном расстоянии друг от друга. Против них, через пересекавшую городок дорогу, располагались цеха переработки и кормоприготовления, инженерные сооружения, служебные помещения. Чтобы обойти все, понадобилось бы время. И ничто, кроме водонапорной башни, из сооруженного не уцелело, если не в полном, то



хотя бы в более или менее пристойном виде.

Джип пересек городок до конца и на дальнем краю остановился. Светлоусый, выйдя из него, повел вокруг медленным взглядом. Лудов тоже вылез и в ленивом ожидании наблюдал за действиями возможного покупателя останков животноводческого комплекса.

В обвальные годы Лудов навидался всякого промыслового люда, пытавшегося отхватить изрядный кус бывшего совхозного богатства. В качестве директора он получил от предшественника доброе наследство, полегонечку его спускал, отказываясь от обременительных деревень, разорительных производств, облегчая тем жизнь себе как администратору и наращивая личное благосостояние. Его не свербило разорение Ипатьевского молочного комплекса. Разворовывать его начали, еще когда он действовал. Лудов несколько раз пытался закрыть ферму, где работала половина деревни. Каждый раз общим собранием деревня ферму отстаивала, обещая хранить, а на самом деле продолжала обворовывать. Чего только не предпринимал Лудов: убеждал людей, менял сторожей, насыпал проверки, устраивал облавы — ничто не шло на пользу: корма проедались, надои падали. Когда они упали до 600 граммов от коровы в сутки, Лудов придумал способ, чем взять деревню. Он предложил работающим на ферме разобрать по дворам часть стада как долю, причитающуюся при выходе из совхоза, на что люди с готовностью согласились. Остальных коров он вывез на центральную усадьбу. Так с воровской фермой было покончено.

И все-таки бывшего директору обескураживала скорость, с какой ее растащили, не посчитавшись с тем, что она долгие годы кормила целую деревню.

Перестав сожалеть о потере, Лудов тем не менее воспрянул духом, когда к нему в контору заявил посетитель, назвавший себя Иваном Степановичем Семачим и изложивший свои намерения.

Греясь на солнышке у машины, Лудов поглядывал, как тот осматривает развалины, и думал почему-то не о своей пользе, а о рискованной заманчивости чужой затеи. Сам Лудов, разнежившийся на добром наследстве, ленился что-либо дополнительное предпринимать, но энергия других щекотала ему нервы. Всякий раз, заводя дело с кем-то из новых, он мысленно предсказывал тому успех или проигрыш и редко ошибался. Этот новоявленный коневод был, несомненно, романтиком. Ни знаний у него, ни навыков — одна идея и деньги. Как романтику ему положено понапрасну извести свои капиталы. Но выйдет ли именно так, Лудов воздерживался от вывода. Идея ему нравилась, человек тоже. Похоже, что мечта у него не блажь, а окрыляющая сила. Плохо, что человек городской, по-столичному шиковатый, — для фермы, пусть и коневодческой, не совсем соответствует. Однако в нем угадывается приобретенный на иной почве опыт, твердость и воля. Такой может поставить дело. Если приглядеться, у приезжего вкрадчивая казачья походка, точно хищный зверек, на мысках ходит. Городской-то он городской, а корешок, должно быть, деревенский или, того паче, станичный.

Денек играл расцвечеными солнцем красками осени. Лудов разморился на пригреве. Его карие маслянистые глаза сонливо смеживались и все ленивой следили за перемещениями франтоватого предпринимателя.

Того, видимо, заинтересовали два последних коровника. Голубая, с белыми отворотами, куртка новоявленного фермера мелькала то в пробоине стены, то в пролете строения и невольно перевела размышления Лудова на себя. Мысленно он уже ее примерил и увидел себя, похожего в ней на огруженную и усатую снегурку. Будь курточка потемней цветом и без белых отворотов — ему бы тоже пошла. Кожа у нее мягкая, добротной выделки. А этот новый русский в ней как перышко и на снегурочку не похож. Да-а, птица нездешнего полета.

Приезжий повернулся к водонапорной башне. Сбросив сонливость, Лудов поплелся туда же. Водонапорная башня уцелела от разгрома, и у бывшего директора были кое-какие советы по ее использованию.

Пока они разговаривали, стоя у основания круглой постройки из красного кирпича, с серебряной обшивкой верха, не содранной лишь потому, что никто не мог до нее добраться, из-за коровников со стороны деревни вышел здоровенный

мужик в распахнутой куртке и полосатой тельняшке. Оглядел синий джип, здоровяк увидел беседовавшего в стороне с кем-то неизвестным бывшего совхозного директора и повернулся к нему.

— Здорово, Геннадий Андреич, — прогудел он за спину у говоривших.

— Те обернулись.

— А, Константин Игнатьевич, день добрый, — кивнул здоровяк Лудов. — Ты чего тут? Или не все взял?

— Чего тут уже брать, кроме гольных опор? — округлил тот оловянного цвета глаза.

— Тебе, богатырю, и опоры нипочем.

— Да на что они мне? Не дворец ставить! Пусть тут торчат памятником нашему руководству.

— А это врешь, Константин, — памятником деревенской глупости, — отпихнул обвинение бывший директор.

— Да чего там, Геннадий Андреич, вместе хватали — вы сливки, мы обратки. Добро порезвились, ни с вас, ни с нас возврату не будет.

— И это врешь, Константин, возврат будет, — возразил Лудов. — Правда, без нашего с вами участия.

— Как это, Геннадий Андреич? — не понял здоровяк.

— А вот полюбуйся на человека, — Лудов слегка приобнял незнакомца в голубой куртке. — Не плечист молодец, зато головаст, к бывшей ферме интерес имеет.

— Живописное место, — проговорил незнакомец.

— Картину рисовать будете? — вопросительно хмыкнул здоровяк.

— Перерисовывать на новый лад, — благодушно заметил Лудов.

Незнакомец протянул богатырю руку и представился:

— Иван Степанович Семачий.

Великанья лапа охватила суховатую ладошку, встретив неожиданно крепкое пожатие.

— Константин Игнатьевич Сударев, — произнес здоровяк, продолжая вопрошающе смотреть на нездешнего человека.

— Да не художник он, а предприниматель, — понял затруднение здоровяка Лудов. — Ферму хочет поднимать.

— Из этого? — пораженно выдохнул Сударев, кивнув на руины.

— В том числе и из этого, — подтвердил Лудов.

— У нас опять будет ферма! — обрадовался здоровяк.

— Не у вас, вы свою профукали, а у него, — со значением подчеркнул Лудов.

Но здоровяк не принял во внимание его слова, он ел глазами предпринимателя.

— Неужто откроете ферму?

— Конеферму, — уточнил тот, довольный проявленным к его замыслу интересом.

— Так это маленькую? — потускнел здоровяк.

— Планирую табуны на всю степь, — сказал приезжий.

— Ага, планируете, — уважительно кивнул здоровяк, услышав деловое слово.

— Ты, Константин, чем сейчас занимаешься? — обратился к здоровяку директор.

— Промышляю маленько, — ослабился тот. — Петли на сурских ставлю.

— На сурских? — не поверил Лудов. — Какие тут сурски? Не пашем, не сеем, зерна не растим. Фазанами, небось, балуешься, Константин?

— Да хоть и фазанами, Геннадий Андреич. Жить-то надо?

— нахально поглядел на директора здоровяк.

— А я-то думаю — чего ты ферме обрадовался? Приманка для фазанов? Взялся бы гусей разводить.

— А кормить чем?

— Купишь на конеферме коня и паши свой пай.

— А семена, а плуг, а убирать чем? На какие шиши все это справить?

— Ну, выкручивайся на фазанах, — в сердцах бросил директор и отвернулся от здоровяка, показывая, что разговор с ним окончен.

— Богатырь! — с восхищением произнес, глядя вслед уходящему мужику, светлоусый.

— Да-а, глянешь на такого и подумаешь — горы свернет. А работник самый пустячный — ни механизатор, ни животно-

вод, так... петли на сусликов ставить.

— Один такой здоровый в деревне или еще есть? — поинтересовался Семачий.

— Триединые все такие, что мужики, что бабы. Несуразная порода, каждый на свой манер дурака корчит. Отец у них не сказать, что с приветом, но с большим вывертом был. Похвалялся бывало: «Я, — говорит, — сразу три рода заложил». А всего только из своей фамилии три разных сделал. Сам Игнат Судариков был, сына старшего, Льва, по себе Судариковым записал, среднего, Константина, уже Сударевым, а младший, Николай, Сударем пишется. Начудил и помер. В деревне всех его потомков Триедиными кличут. Но эти хоть не самые вредные, по-своему простодушные даже. А в целом деревня тяжелая — ленивая, пьяная, воровитая. Смотри, Иван Степаныч, куда голову суешь.

Предприниматель сделал рукой подсекающее движение, как бы говоря этим, что такие дела для него не проблема. Лудов подивился его то ли самомнению, то ли недопониманию обстановки, но возражать не стал, и они продолжили переговоры.

Предприниматель выбрал для себя дальнюю, по отношению к трассе, часть городка — чуть меньше половины территории бывшей фермы, где были два коровника, водонапорная башня и еще кое-какие полуразрушенные постройки. Сюда из деревни тянулась находенная дорога, и отсюда же был выход в степь.

Новоявленный фермер обвел взглядом облюбованное пространство:

— Здесь будет база, а там, в поле, табун.

Мысленно он уже видел эту картину.

Глава II.

Любовь — капитал неразменный

Вечером, укладываясь спать в городской квартире, предприниматель сказал жене:

— Олеся, я выбрал место. Хочешь, свожу посмотреть. А лучше подожди — отстроюсь, королевой въедешь.

Жена, такая же легкая и сухощавая, как и муж, с волевым точеным лицом, нервно поморщилась:

— Неужели я никогда больше не буду Региной?

— Только в переводе, Королева моя. А чем тебе не по нраву княжеское имя Ольга? Королевство твое было карманным, а княжество я обещаю великолепное.

— Если б оно было в Швейцарии, Франции или Америке, хотя бы Латинской.

— За бугром, моя милая, водится кровожадная птица по имени Интерпол. Она отнимет тебя у меня, а может, обоих прихватит, хотя я перед нею чист.

— Ну да, ты не прокололся, — обиженно сказала женщина.

— В том-то и дело, — кивнул муж.

— Я от тебя завишу, и ты мною вертишь. Смотри, не затронь опасной зоны...

— Надеюсь, дикая степь вытравит прежние привычки, сотрет из памяти прежние занятия, а нашу любовь закалит.

— А деньги? Что она сделает с ними? Превратит их в пыль?

— Нет. Она превратит их в драгоценные слитки, и мы вымостим ими наше княжество.

— И это все, ради чего рисковали?

— Увидишь потом, что это немало.

— Леня, — спросила она, когда они почти засыпали, — а все-таки почему ферма?

— Без легкомыслия, Королева моя. Даже во сне, даже в забытии не произноси этого имени. Я его до конца прожил. Ферма же потому, что я с детства грезил конями.

— Где ты грезил?

— Неважно.

— Ты не москвич, ты из пригорода?

— Я и вовсе лимитчик.

— Ты меня разыгрываешь?

— Серьезно. Лимита самая настоящая. Мальчишкой в

ремесленное привезли, чтобы к городу прирастал. Я и прирос.

— Я потрясена. Ничего подобного о тебе не слыхала, а ведь я наводила справки.

— Ты когда наводила? Когда я в авторитетах числился и прошлое было уже по легенде. Я даже кличу стравил, а это почище, чем татуировку. Погулял на Москве и сгинул вместе с королевской жемчужиной. Жаль, что жемчужина в реестрах значится, а то бы ни в чем ни малейшей зацепки.

— Теперь понятно, почему простоватое имя, почему ферма, почему усы, — разочарованно произнесла женщина.

— Усы-то при чем? — он невольно тронул жестковатую щетку под носом.

— Они у тебя скрипучие.

— Почему скрипучие?

— Потому что скрипят.

— Как скрипят?

— Хочешь покажу?

Она провела ногтем по шершавой щетине и, то ли она что-то сотворила, то ли так вышло без подвоха, но раздался потрескивающий звук.

— Слышишь?

— Ну и что? — равнодушно произнес он.

— Усы плебейские.

— Генеральская фанаберия! У кого из нас хвост подмечен?.. Любовь — капитал неразменный. А ну, как я его разменяю? Отшлю тебя за границу и живи как знаешь!

— Расходиться из-за усов глупо, — примирительно сказала жена. Я еще новой фамилии не обносила, да и имени тоже. Ну и фамильице ты выбрал вместе с имечком!

— Скажешь, тоже плебейские?

— Неужели задело? Значит, в точку попала. Ставь и меня на эту же точку, несмотря на мою генеральскую фанаберию. Были же и у меня какие-то корни? Может быть, сходные. Ты из каких земель, родненький? — женщина подождала ответа и, не дождавшись, сказала: — Фанаберия — слово редкое, а ты его запросто произнес. Не из белорусов ли ты, мой свет, а может, из запорожцев? Где твоя родина, Ленька Оруджий и Ванька Семачий?

— Мы на Дальнем Востоке, моя Королева. Здесь теперь родина для генеральной дочки и крестьянского сына. Если не будешь задавать лишних вопросов, мы исправим тут наши попорченные биографии и заживем открыто и чисто.

— На нечистые деньги?

Он нервно дернул верхней губой, поморщив усы, и с не-приязнью сказал:

— Все же лучше, чем швырять их по заграницам.

— Я бы, мой свет, решила, что ты фантазер, если бы не знала твоей хватки, и я хочу поучаствовать в твоем новом предприятии как равноправный компаньон.

— Я рад. Мне нужны твоя помощь, твое участие и твои деньги. Мы сделаем нашу жизнь содержательной.

Когда жена уснула, предприниматель сел к столу и набросал план усадьбы, включив в него кое-какие из старых построек, сохранив для одних прежнее назначение, другие приспособил для иных целей, мысленно их переконструировав. Внес в чертеж новые сооружения: конюшню для рабочих лошадей, базу для скота, загоны для птицы, задумался о водомое, и даже место для него подобрал в небольшой пади за оградой усадьбы, но оставил эту мысль под вопросом и занялся привязкой к усадьбе хозяйственного дома. Его он слегка выдвинул в степь, оторвав от основного двора, чтобы в дальнейшем обнести дом садом. Он не будет строить коттеджа. Дом его будет иметь служебные помещения внизу, жилые вверху и вышку для кругового обзора на крыше. Можно будет что-то прибавить, если жена захочет. Потом обнес нарисованную усадьбу забором с тремя воротами — в степь, на трассу и на деревню.

Окончив чертеж, Семачий взгляделся в него: не забыл ли чего. В голове его стояла заброшенная панская усадьба, куда они мальчишками бегали играть, где искали и в то же время страшно боялись привидений и куда их как магнитом притягивали витавшие над старинным поместьем легенды. Наверно, он недобегал, недоиграл и недофантазировал в детстве, потому что образ той усадьбы сопровождает его всю жизнь и

так же, как в мальчишеские годы, будоражит чувства.

Не это ли давнее впечатление воспроизводит он здесь, на развалинах? Не ради ли его переиначил судьбу под незамаранным именем двоюродного братишки Ваньки Семачего, погибшего в горящем доме? Да, конечно, надежды, бередившие предков, гуляют и в его жилах, но он современный, трезвомыслящий человек, он понимает, что поместья в том виде, в каком знал их его прадеды, без дармового труда крепостных не создать. Поэтому, чего бы он себе ни воображал, у него будет только ферма, способная существовать на доход и прибыль. Достанет ли у него изобретательности, чтобы не сесть на мель и не разочаровать жену? Как Ленька Оруджий он был куда как хитер. А на что он сгодится как Ванька Семачий? Эх, братан, не подвести бы тебя!

Глава III.

«Полдеревни забатрачил...»

Иван Семачий скоро и с выгодой для себя провел по инстанциям оформление документов на землю под усадьбу, под пашню, под луга и пастбища и получил статус фермера. К положенному по закону он прибавил еще и то, что сумел выторговать у Лудова — где-то договором об аренде, где-то взаимным соглашением, а где-то в виде подарка в знак личной симпатии и будущих услуг. Бывший животноводческий комплекс ввиду непригодности к эксплуатации был списан.

Октябрь еще светился солнцем и обогревал осенним теплом. Семачий спешил до холодов заложить провалы в потолках и стенах доставшихся ему коровников. В качестве материала были взяты бетонные плиты и силикатный кирпич из развалин, не попавших на территорию усадьбы. Разворованный городок подвергся еще одному разграблению, чтобы в одной своей части опустеть окончательно, а в другой подняться возрожденными строениями.

Скрипели подъемные механизмы, трещала сварка, стучали молотками население деревни, нанятое новым хозяином разбивать старую кладку. На развалих сидели женщины молодые и средних лет, здоровые мужики, могущие без помощи инструмента выламывать кирпич, парни, не знавшие куда приложить силы. Притащились не усидевшие дома старики и старухи, сновали, иска занятия, дети. Все это напоминало стародавние колхозные времена, когда трудились сообща, на виду друг у друга, взбадривая себя шуткой и смехом. Напоминало и еще более давние времена совместных посиделок, когда гомонили разом мужики и бабы.

Не такое уж веселое дело выкупывать кирпичи и сбивать с них окаменевший раствор, но исполняли его с оживлением и охотой, похваляясь друг перед другом быстротой и ловкостью. Стосковалась деревня по общественному труду, еще недавно надоедавшему каждодневной обязательностью, а еще вернее — зануждалась в живых деньгах, редко и далеко не всем попадавших теперь в руки. Семачий платил с сотни очищенных кирпичей, расплачиваясь в конце дня, и чуть позже то в одной, то в другой улице деревни нестройно звивалась песня, и тек барыш держателям самогонного промысла. К утру возникло желание повторить вчерашнее удовольствие, и бежал народ по годами протоптанной дороге к бывшей совхозной ферме.

На двух бывших коровниках приваривались бетонные панели, закладывались кирпичом провалы в стенах, выгребалася изнутри и вывозился вон строительный мусор и лом. А в отдалении урчал экскаватор, рывший котлован под фермерский дом, расчищались площадки под конюшню и баз, скоро началась и заливка фундамента. Гремела бетономешалка, возился из близких карьеров песок и щебень, городился забор. Подрядчик не успевал за огневым напором хозяина, поражавшего способностью закрутить в винт сразу несколько фронтов, держать в уме и просчитывать действия наперед не только по дням и часам, но даже минутам.

— Ты, Иван Степаныч, слuchаем не в балете работал — на секунды расчет строишь, — заметил утомленный подрядчик, в свою очередь замотавший субподрядчиков требованием исполнять заказ по-военному точно и в срок.

— Хуже того, в цирке, — в тон ему ответил Семачий.

Там на доли секунд время ведут — в итоге жизнь или смерть.

— В нашем деле простой неизбежны.

— Простой — если налетит тайфун. А у нас небо синее, солнышко теплое. С земляными и бетонными работами мы должны закончить до холодов. Простой за твой счет.

«Капиталист чертов», — мысленно ругался подрядчик и вертелся винтом.

Рабочих на неделе в город не отпускали. Жили они в вагончиках, а кормились в бывшей совхозной столовой, тянувшей свой век на выпечке булочек и приготовлении дешевых обедов для учеников начальной школы. Неожиданный заказ со стройки взбодрил ее угасавшие дела.

Механизмы гудели весь световой день и часть вечера, дотемна вспыхивала сварка и гремела бетономешалка. Отработав смену, рабочие валились с ног, и даже горячие деревенские девки не могли их расшевелить.

Ипатьевцев, отыкших слышать таращение трактора по деревне, заражало производственное кипение на площадке. Молодцеватая переселенка в расписаном платке тонкой шерсти, наверченном тюрбаном на голове, смуглая, каеглазая, обивая кирпич, разухабисто выкрикнула:

Ну, Семачий, черт собачий,

Полдеревни забатрачил.

Люди вокруг сдержанно прыснули, видя за ее спину хозяина, которого та не заметила.

Семачий вышел ей на глаза и с усмешкой спросил:

— А чего ж ты забатрачилась?

Женщина не смутилась:

— Платишь изрядно и сразу, — бедово и одновременно льстиво выпалила она.

— Рад, что устраиваю. Тебя, кажется, Ульяной зовут?

— Ульяна Гарькавая, — разулыбалась переселенка.

В глазах Семачего вспыхнула веселая искра. Смуглянка напомнила ему женщин из детства — разбитных и языкатых.

— У меня к тебе, Ульяна, сердечная просьба — будь добра, не носи самогон на строительную площадку.

Женщина зыркнула на него глазами.

— Шутишь, хозяин? Ты что — видел? — нахально бросила она, будто не помня, что у нее спрятаны в сумке три поллитры не проданного еще самогону.

— У себя в хозяйстве я все вижу, — вкрадчиво, но с той же с искрой в глазах заверил он.

— Сбrehали тебе.

— Может быть, но ты все-таки прими во внимание мою просьбу.

— Ладно, — сказала она. — Твой двор — твоя воля, а мой двор — моя. Ежели кто из твоих работников ко мне в дом заявится, не жалуйся, отоварю по полной. Против этого между нами уговора не будет.

Семачий скользнувший под усы улыбкой подтвердил согласие и отошел. Работавшие рядом, не уловив содержания их разговора, по жестам и мимике вывели, что женщина в чем-то перед хозяином не уступила.

— Чего, Улька, он хотел? — полюбопытствовали бабы.

— У нас с ним свои дела, — горделиво выпрямилась она.

Пожилой мужик, мерно постукивавший острым концом молоточка, флегматично продекламировал:

Не гляди, что сам Семачий,

Бабы он не окопачил!

Вслед хозяину ударили дружный хохот. Семачий догадался о его причине, но не оглянулся.

Однако Ульяна все же остереглась предложить самогон строителям и по дороге домой продала его своим же деревенским.

На расчете Константин Триединый запросил прибавки.

— Иван Степаныч, накинь за знакомство.

— Не помню, чтоб мы о том договаривались, — бесстрастно ответил фермер.

— А что, надо было? — растерялся здоровяк.

— Раз ты считаешь себя на особых условиях, надо было заранее обсудить.

— А сейчас не поздно? — с надеждой спросил Константин.

— Поздно. Сегодня ваша работа кончается. Я всех вас благодарю. Не путай со словом «отблагодарю». Это другое.

Оловянные глаза Константина потускнели. Он унес с собой обиду.

Глава IV. Первый поцелуй

После наезда холодом в ноябрьские праздники, с ветром и снегопадом, погода смягчилась, прояснилась, брызнула солнцем, но черта между осенью и зимой была уже пройдена. Земля лежала убеленной, полуденный пригрев не плавил льда, к утру на притолоках коровьих сараев ворсился нежный куржак. Только река Синюшка перед деревней еще боролась с наползвшей стужей. Сузившись, она упрямой змейкой извивалась в высоких торосах, дыша седоватым парком.

С наступлением ночи деревня проваливалась в черную бездну. Тусклое свечение из окон не ослабляло тьмы, а фонарей на улицах не осталось. И вот однажды там, где раньше была ферма и откуда когда-то, позабыто давно, выплескивалось в ночь разливное озеро света, пронзительно ярко вспыхнула горстка высоко поднятых над землей огней. Их хорошо было видно из дворов и окон глядящих на трассу домов. Растекающееся по округе магево подсвечивало саму деревню, разжигая мрак огородов и улиц. Молодежь не усидела у телевизоров и мотыльками полетела на свет.

Забытая дорога на ферму вновь ожила. У Ипатьевских парней и девчат быстро вошло в моду гулять, когда смеркнется, к строительной площадке. Движутся неспешно ватажками, отколавшимися парочками, в целом держась на виду друг у друга. Подойдут к раскрытым воротам, постоят, поглядят на то, что делается внутри, — во двор не заходят, сторож горяет, да и что там делать? — уйдут и снова вернутся. Так несколько раз за вечер. Случается, галдят у ворот, частушки выкрикивают, иной раз затеют пляски.

Плотник Ванька Филимонов, делавший на коровнике обрешетку крыши, с сочувствием поглядывал на ребят сверху, понимая, что их сюда манит. На стройплощадке и при фонарях жизнь кипит, а в деревне и белым днем — мертвячина: ни трактор не взрыкнет, ни конь не проржет. Заглохла деревня. Молодежь не знает, для чего растет. Пусть на настоящую работу посмотрят, позавидуют.

Из двора на выход пошел синий хозяйствский джип. Ванька влюбленно покосил на него черный глазом. «Ну вот и все на сегодня». С отъездом хозяина работа свернется, мужики полезут с крыши и потянутся в теплый вагончик мыться и спать. Ворота закроются, фонари погаснут, оставив сторожу для обзора один мощный прожектор, и он, Ванька Филимонов, лежа на жесткой постели, будет думать о своей несуразной жизни, сотканной из вечно меняющихся и редко исполняемых ожиданий.

В воротах, где толкалась молодежь, Семачий остановил машину и, высунувшись наружу, крикнул в мигом сгрудившуюся толпу:

— Что, клуба в деревне нету?

— Есть, — откликнулись ребята.

— Что ж вы не там, а тут?

— Мы — где интересней, — вразнобой галдела молодежь.

— Какой пока интерес, все в самом начале. Отстроюсь, сделаю вам экскурсию, — улыбаясь, пообещал Семачий.

— А на работу возьмете? — выкрикнуло сразу несколько голосов.

— Кого-то, может, и возьму, — Семачий обвел взглядом лица с устремленными на него глазами.

— Меня возьмете? — спросил близко стоявший парнишка.

— Что ты умеешь?

— А учеником!

— Сначала чему-нибудь обучись, я предпочтую профессионалов.

Вперед пробился невысокий, нежного вида мальчик и, запинаясь от волнения, проговорил:

— Вы коней разводить будете? Я в сельхозтехникуме на ветеринара учусь. На практику к вам можно будет?

Лицо парнишки читалось как открытая книга, и книга эта Семачего заинтересовала.

— Как тебя звать?

— Юра Михайлов.

— Давно в техникуме?

— С этой осени только.

— Время терпит. На практику приходи.

Подростки возбужденными взглядами проводили автомобиль и повернулись к нечаянному счастливцу. Застенчивый Юра чувствовал себя именинником. Ребята смотрели на него с уважением. А он, не отпуская руки Леночки Сударь, то и дело взглядывал на девочку и, замирая сердцем, видел в ее глазах восхищение.

На входе в деревню Юра с подружкой отбылись от всех и пошли по средней улице, где за плотной полосой забора находился Леночкин дом, на заднем дворе которого они обычно подолгу стояли, оттягивая прощание, а потом огородом Юра брел к своему двору, бывшему как раз напротив Леночкиного. На огородах, за прополкой, они и присмотрелись друг к другу, еще летом, а когда молодежь затеяла гулянья к бывшей ферме, Юра старался держаться поближе к Леночке, и она тоже подвигалась к нему. Насмелившись, он как-то взял ее за руку. Так они теперь и ходили.

С этой осени Юра начал держать себя по-взрослому. Он поступил в техникум, отчего посерезнел и даже осмелился задержать с девочкой. Леночка училась в школе, была на два года моложе, но она хорошо росла и выглядела под ровень ему. В то время как он, рожденный невысокой мамой, почти исчерпал возможности роста, Леночка, как и все Триединые, обещала превратиться в крупную девушку и перерости дружка чуть ли не на целую голову. Это обстоятельство в дальнейшем могло расстроить их дружбу, но пока они не подозревали о коварных свойствах своей природы и тянулись друг к другу.

Месяц одобрительно улыбался молоденькой парочке сверху. Сердце Юры переполняла надежда от забрезживших перед ним радужных перспектив и от волнующей близости девочки. Обычно даже в укромном своем местечке они не расцепляли рук, но больше никак не касались друг друга, а нынче их плечи сомкнулись, словно их магнитом стянуло. Юра не заметил, как это произошло, и продолжал не замечать дальше. Он блаженно всматривался в голубое мерцание ночи, в резкие сочетания света и тени, и было очевидно, что наполнение счастьем для него надолго, на много и много дней. Леночка же томилась возле него ожиданием. Она считала, что дружба их толчется на месте, не подвигаясь к приятным удовольствиям. И девочка решилась поторопить события.

— Верка Юдина с Толькой Мунгаловым при всех целуются. И Тонька Мананкина с Димкой Ветровым тоже, — сообщила она.

— Зачем же при всех? Разве можно при всех? Я бы так не хотел, — с замиранием сердца отозвался Юра.

— Я тоже, — поспешила согласиться девочка и тут же прибавила: — Но не при всех ведь можно же, да?

Юра смутился и растерянно проронил:

— Ты этого хочешь?

— А ты? — спросила она, призывающе глядя ему в глаза и слегка подавая навстречу пухлые губки.

Страх и волнение ударили в голову мальчика. Ему показалось, что перед ним выросло такое препятствие, которое он не сможет преодолеть. Его бросило в жар и холод. В то же время что-то мучительное и зовущее, потревоженное в самой глубине, повлекло его к ожидающим губам. Немея и замирая, он коснулся их, но так, что девочка ничего не почувствовала. Он понял, что сделал не так, как нужно, и повторил так же воздушно и почти неощутимо. Тогда девочка сама захватила его неумелые губы своими и сформировала такой поцелуй, который подсмотрела по телевизору и которым ввергла в столбняк впечатлительного партнера.

— Юр, ты чего? Ты чего, Юра? — Она заметила, как побелело и замерло его лицо.

Заглатывая воздух, он сделал чмокающее движение гу-

бами. Она подумала, что он просит еще поцелуя, и осыпала его лицо нежными и ласковыми прикосновениями. Он пришел в себя и потрясенно сказал:

— После такого у нас не дружба, у нас любовь, да?

— Ох, да, — радостно подтвердила она.

— И мы никогда не изменим друг другу? — преданно глядя ей в глаза и словно беря клятву, спросил он.

— Ох, нет, — с той же готовностью подтвердила она.

— И мы никому не скажем о нашей любви? — настойчиво пытал он.

— Об этом все равно все узнают, — с небрежной гримаской возразила она. — Просто не будем никому говорить о том, что мы делаем, когда остаемся одни.

— Верно, не будем.

Обязательство они скрепили новым поцелуем, в котором инициативу держал он.

Этим вечерам одно сердце навсегда было захвачено в плен другим, а другое сердце поняло, что в этой любви оно всегда будет царить и главенствовать.

Они долго прощались, не в силах расстаться. Он махал ей с середины дороги, когда уходил по огороду, махал со своего двора, видя, как вдали за изгородью она машет в ответ. Ему не захотелось заходить в дом. Он присел на перекладину приставленной к стене лестницы. Три приблудившихся ко двору собачонки терлись у его ног, он машинально поглаживал каждую и никак не мог выйти из потрясения.

Лена махнула Юре в последний раз и, видя, что он вошел во двор, повернулась и легкой птичкой полетела в дом. Она загадала себе, что все равно добьется того, что они с Юром при всех поцелуются.

Глава V.

Нечаянный взлет судьбы

Ваньки Филимонова

Ванька Филимонов не поехал вместе с бригадой в город, а куковал выходные на объекте вместе со сторожем. С утра он раскалил в будане печурку, помылся и, что было обязательным для него, причепурился — тщательно выбрился, подровнял черный густой навес усов под остреньким носиком, уложил щеткой такие же густые и гладкие волосы. Увидев себя в зеркале молодым, красивым и шиковатым, он вдохновился на следующий подвиг — постирал нательное, постельное, часть робы, а куртку почистил. Все развесил сушиться на веревке, протянутой от вагончика к столбу.

Покончив с неотложными делами и в то же время со всеми делами вообще, он уселся на припеке, с южной стороны вагончика, наклонив под собой табурет так, что спина и затылок уперлись в нагретую стенку, а ноги висели в воздухе. Остренький носик Ваньки вздрагивал от разливавшегося по двору мясного и капустного запаха щей, которые для себя и для него изобретал сторож. По привычке влезать во все, что вокруг делалось, Ванька попытался было вклинииться и в это занятие, но сторож не подпустил, потому что сам уже взялся. Ванька подремывал, втягивая в себя вкусный запах, и соображал, не сбегать ли ему в деревню за молоком и самогоном, чтобы затем прообедать до самого вечера и с полным правом заснуть спать, ни о чем уже не думая. А может, никуда неходить, а, похлебав щей и напившись чаю, залезть на крышу ангара и, пока ребята отдыхают, доделать то, что еще осталось. Но ведь робу-то он постирал, и она будет день сохнуть и ночь досушиваться над печкой в вагончике. А может, сгуплять в аэропорт и до соплей надраться в привокзальном чепке?

Ни одно из этих соображений бывшего флотского не вдохновляло. Жаль было без смысла отравлять безморозный, прогреваемый солнцем денежки. А так как никаких новых идей в голову не приходило, Ванька, досадуя на себя и одновременно блаженствуя, тихонечко напевал:

Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах не сдержать мне уж пару.

Ванька не терпел пустот ни в работе, ни в отдыхе. Жизнь вокруг и он в ней должны были непрестанно крутиться и двигаться. Филимонов пропадал, если что-нибудь замирало и ему не удавалось придать тому действия. Он начинал тогда пить и пить, проваливая себя в беспамятство и таким образом выключая из ходячей жизни.

Ваньке было двадцать восемь лет. За живость и неуемность иначе как Ванькой его не называли. И, несмотря на то, что он взрослел и мужал, видели в нем извечного мальчишку. Но когда он в охотку разработается, за ним мало кто успевал. В пару к нему становились без желания, умотает кого угодно. Сам он маленький, ладненький, жутко опрятный. По флотской привычке тяготеет к черному цвету в одежде, всегда вычищенной, выдраенной и замечательно пригнанной, будто пошитой на него. По той же флотской привычке вверх, вниз и по прямой он — всегда бегом, всегда на скорости, как шустрый галочонок. Его, даже бесчувственно пьяного, если крепко встряхнуть, глаза сразу осмыслятся, а ноги готовы будут бежать. То же самое с улыбкой. Она вдруг пырнет из-под усов и откроет белый, сияющий ряд зубов.

Ванька так и не успел ничего выдумать. За воротами, обращенными к трассе, знакомо просигналил хозяйственный джип. Бывший флотский мигом отлепил себя от будана, табуретка под ним хлопнула, становясь на четыре ножки, шапка как по волшебству сползла со лба на затылок, глаза засияли, а сам Ванька застыл в ожидании. Сторож уже открывал ворота.

Джип подкатил к будану, где из железной трубы курился дымок и где в выходной день было единственное живое место на стройке. Ванька вскочил с табурета, встречая выходящего из машины хозяина. Ему всеми своими повадками нравился Семачий: как одевался, как ходил, как разговаривал, глядя на собеседника цельным и понимающим взглядом, как, ни во что вроде бы не вмешиваясь и ничего не касаясь, умел раскрутить работу так, что бригада на неделе не расслаблялась, не знала простое и передышек, нравилось, как платил, как устраивал для нанятых рабочих в общем приемлемый быт. Но лицом к лицу, с глазу на глаз Ванька сталкивался с хозяином впервые.

— Не поехал со всеми? — глянул на плотника хозяин.

Светло-карие, теплого свечения глаза хозяина с удовольствием смотрели в веселые глаза неунывающего человечка.

— Что в общежитии делать? — отвечал Ванька.

— Здесь лучше?

— Ну да, просторней, воздух чище. Была бы баня, совсем можно тут поселиться.

— Баня? А ведь правда! Ванные в доме предусмотрел, а о бане во дворе не подумал. Я тоже намерен сюда перебраться, — хозяин кивнул на белый кирпичный остов бывшего коровного цеха, который переделывался под жилье, там уже заделали проемы, вставили рамы и начали возводить крышу.

— Баня нужна и, значит, будет.

— Здорово! — обрадовался Ванька. — До крепких бы морозов успеть.

— Это уже от вас зависит, — сказал хозяин. — Тебя Иваном зовут?

— Иван Алексеевич Филимонов, матрос запаса, — отрапортовал Ванька.

— Тезка, — кивнул Семачий.

— По паспорту только, — возразил плотник.

— Как это? — не понял Семачий.

— В жизни-то вы Иван Степаныч, а я Ванька.

— Почему же Ванька?

— Потому что шустрый и маленький.

У обоих вырвался дружный смех. Засмеялся и стоявший в стороне сторож.

— Мал, да удал. Я видел, как ты работаешь. Где ж ты так наловчился? — спросил хозяин.

— Предки крепежили в шахте. Я тоже шахтер. Мать домой ждет. А я на флоте к простору привык, не хочу под землю.

— Не женат?

— Был. Надеюсь, что больше не буду.

Семачий усмехнулся, но ничего на это не сказал, а спросил:

— У меня тебе нравится?

— Ничего. Работы много. Люблю, когда ее много.

— Хотел бы здесь оставаться?

— А что делать? — оживился Ванька.

— Дела хватит. Идем, расскажу. — И хозяин и повел парня к одному из бывших коровников, ставших теперь ангарами.

Отомкнув своим ключом дверцу, вырезанную в тяжелых воротах, Семачий впустил вовнутрь Ваньку и вошел сам. Длинный, ничем не разгороженный пролет тянулся до противоположного края помещения. В дальнем углу на планках, набитых Ванькиной бригадой, была развезена конская упряжь.

— Готовлюсь, — сказал Семачий. — У меня, ты же знаешь, конеферма будет. Если осилю, то и конезавод. Ты лошадей любишь?

— Жалею по памяти. На шахтах когда-то это были первые мученицы.

— У меня им будет воля. Но некоторые будут работать. Для них нужны дуги, оглобли, телеги, фуры, сани. Сумеешь?

— Это смогу, — подумав, кивнул Ванька.

— Сделаем мастерскую. Будешь сам соображать, что для хозяйства мастерить, что на продажу, — заманивал Семачий.

Воодушевленный Ванька сорвал с головы шапку, ткнул в ее нутро кулаком, поглядел, что получилось, неизвестно, увидел что или нет, но шапку водрузил на место и сверху прихлопнул, чтобы плотнее устроилась.

— Хорошо! — восхликал он. Помолчал немного и уточнил: — Хорошо в идее.

Семачий шевельнул губы довольной улыбкой.

— Но это не все, Ваня. Мне нужен помощник типа дружка, которому до всего есть дело и который в любую дырку суется. Ты, по-моему, такой.

— Вроде такой, — заулыбался Ванька.

— Думаю, что сговорились, — подытожил Семачий. И добавил: — Будешь ты у меня Иваном Алексеевичем, и никак не иначе.

Глава VI.

Найм

К концу зимы ведущую к ферме Семачего дорогу, по которой гуляла молодежь, растаптывало уже и взрослое население. Из Ипатьева, из окрестных поселков и дальних сел потянулся по ней разношерстный люд, держа в уме кто простую, а кто хитрую мысль. Шли трудяги и лодыри, трезвенники и пьяницы, толковые и никудышиные, путные и пропащие, сытые и голодные. Кто-то нуждался в работе, кто-то в милости, кто-то в бесплатном зрелище.

По утрам у обращенных к трассе ворот с вывеской «Ферма «Степь и табун» скапливалась густая толпа. Сначала Семачий пытался принять и выслушать каждого, но скоро понял, что это так же бессмысленно, как попытаться накормить вольных птиц. Вслед за одними прилетят вторые и третья, пока на двор не слетится весь пернатый мир, все не склюет и не изгадит. Семачий выходил к воротам, и если среди вчерашних и позавчерашних посетителей видел свежее лицо, выслушивал его — принимал просьбу во внимание или откладывал — и отходил.

Его поражало, сколько к глухим сельским углам прибилось пустого, ни к чему не приспособленного народа, занесенного сюда безработицей, нуждой и легкомысленной верой, что деревня прокормит. А та сама держалась из последних сил и, кроме как дать пришельцу приют в холодной избе какого-нибудь пропойцы, ничем иным помочь не могла. Глазам Семачего предстали жалкие человеческие остатки: запившиеся, изможденные, отупевшие, забывшие, что они люди. Самых убогих, готовых рассыпаться на глазах, он распоряжался накормить. Тем, кто покрепче, предлагал заработать обед трудом: подмети двор, наколоть для кухни дрова, вынести полные ведра и тому подобное.

Проходя по двору, Семачий слышал, как сторож крепким матом кроет очередного горемыку. Приглядевшись к нанятым за кормежку, хозяин с удивлением обнаружил, что многие из них не способны даже к самым простым, обиходным вещам.

Метла у них метет не в ту сторону, мусор разлетается, поленья выпрыгивают из охапки, топор машет мимо бревна и хорошо еще, не калечит. И это сельские жители! Как они прожили жизнь?.. Провозятся без толку до обеда, дела не сделают и тащатся за кормежкой. На второй и третий день бесполезных мучений эти горе-труженики на работу уже не просятся, а толкуются в воротах в надежде, что повариха, угрюмая на вид, но не лишенная доброты деревенская девка Татьяна Волоха вынесет им что-нибудь из объедков.

Однажды Семачий увидел, как сторож, вырвав у неумехи метлу, гнал ею того со двора, а тот упирался, искренне полагая, что, раз уж подержал в руках инструмент, то за одно это его обязаны покормить. Поняв, что привлекает к усадьбе попрошаек и лодырей, Семачий распорядился закрыть ворота и впускать лишь тех, кто по делу. Но трое бродяжек к усадьбе все же прибились. Сторожу жалко было их прогонять, повариха их подкармливала, а Семачий делал вид, что не замечает, когда при его появлении три жалкие фигуры пугливо прячутся за ангар.

Этих троих из милосердия он еще просодержит, а больше — все, предел, молча постановил он.

Бродяжки чутьем угадали настроение хозяина и осмелились до того, что хозяйская жена, навестившая мужа в общежитии, оборудованном в бывшем кормозаготовительном цехе, напоролась на одного из них, маячившего в сумерках призраком, и в гневе прогнала паразита из усадьбы. Он потом еле умолил хозяина пустить его обратно. Семачий призвал приблуд пред свое лицо, сурово наказал им приучаться к работе, держать себя в опрятности и без толку по двору не шарашиться. Это значило, что их пребывание здесь признается официально. Но хозяину они все же побаивались и всячески старались не лезть ей на глаза.

В скором времени один из бродяжек попался на воровстве и навсегда был изгнан с фермы. Оставшиеся двое наперебой выказывали свою полезность. Сытые, отмытые, обмундированные в спецодежду, они почувствовали себя людьми, и к ним возвратились трудовые навыки. А когда хозяйство построили, плотников отпустили, а Ванька, теперь Иван Алексеевич, остался управлять двором и хозяйством, бывших бродяжек включили в работу на полную силу. Под рукой Филимонова все горело, кипело и ходило внатяжку, как жилки. Он научил приблуд, имевших теперь звание дворовых рабочих, заготовлять банные веники, делать метлы, топить по субботам баню и скоблить банные полки, убирать у скотины, мести двор. А еще Иван Алексеевич строг был в отношении внешнего вида, а на отдых и часу не оставлял, так что к ночи работнички едва дотягивали до постели. И все это за кормежку, одежду и редкое угощение — когда от поварихи, когда от управляющего, а когда и от самого хозяина.

На сенокосе дворовые рабочие, или «дворняжки», как их называли, держали нагрузку наравне с остальными работниками, и хозяин заплатил им деньгами. На радости бедолаг так упилась самогону, что упали без чувств в бурьян. Один из них так и не поднялся, став жертвой удовольствия на свои трудовые. Уцелевший приплелся в усадьбу. Это был как раз тот, кого хозяйка прогнала со двора. Звали его Леша Свисток.

Среди ходивших наниматься на ферму были братья Триединые — Николай Сударь и Константин Сударев. Николая, лучшего в бывшем отделении механизатора, Семачий обещал взять, как только подойдет техника, которую он намеревался получить по лизингу. Пахать же нынешней весной у него должны были лудовские трактора. Здоровяку Константину, бывшему разнорабочему, ничем не проявившему себя в совхозное время, Семачий отказал, чем снова разобидел его. И вообще, слухи, что новый хозяин набирает людей, оказались сильно преувеличеными. По подсказке Лудова Семачий взял скотницу, миловидную, чистоплотную женщину лет тридцати восьми, двух крепких мужиков в пастухи, переселенца, знакомого с шорным делом, чтобы готовить упряжь, и, вместе с котлами закрывшейся наконец Ипатьевской столовой, — одну из поварих, незамужнюю девку, взбитую как сливки, но без клубники.

В итоге деревня не получила того, на что рассчитывала — целиком, как прежде в совхоз, влиться в новую ферму.

Глава VII.

Весенняя зачарованность

Деревня овеялась нежной тополиной дымкой и пенной кипенью цветущих черемух. Все серое и неприглядное, что было здесь в глаза осенью и зимой, отступило на задний план. А по ту сторону трассы, на луговине, за каймой густого кустарника, где находилась ферма «Степь и табун», весеннего переворота еще не произошло. Двор был лыс. На лугу из бурых бодылей свежий подрост еще не пробился. Лишь зазеленевшая кустарниковая чаща, полукружьем охватывавшая усадьбу, диковато оживляла пейзаж.

Хозяйский дом с каменным низом и деревянным верхом, с обзорной вышкой на крыше уже возвели, но внутренние и отчасти наружные работы на нем продолжались. Издали дом казался отодвинутым от усадьбы, каким-то одиноким. Семачий, оглядываясь на него с трассы, мысленно обносил его зеленым кольцом насаждений. А пока все ездили в деревню — ездили и ездили, и никак не мог успокоиться. Что так тянуло туда, почему не сиделось в усадьбе, для чего седлал он коня и скакал не в луг, не в поле, а непременно в деревню — он и сам не мог понять. Только не давало ему покоя колебание зеленого облака над деревней, остро пронзали душу незначительные картинки деревенского быта: млеющий кот на карнизе, цветущий куст перед домом, выглянувшая из-за изгороди баба, бегущий по улице мальчишка, с лаем выскочившая наперевес всаднику собака. Самое ничтожное проявление жизни воспринималось им как явление существенной важности. Или это память проснулась, или накипь с души сошла, или он, как и все тут, был ввинчен в могучий поток природного обновления?

Он видел, как после зимнего отупения лица у людей стали осмысленными. Что это — инстинкт, озарение, заповедный дар предков? Жажда действия охватила каждого. Никто не сидел без дела. Все были у земли, у своих огородных наделов. Деревня звенела, жужжала, стучала, гудела нанятым на пахоту огородов трактором, перекликалась помолодевшими голосами и не обращала на Семачего никакого внимания. Это было тем более удивительно, что еще недавно она чуть ли не помирала без его помощи, осаждая усадьбу мольбами и просьбами. А сейчас будто все без него знали, что делать и как жить.

Уже не деревня в Семачем, а он нуждался в деревне, чтобы заразиться ее природной тягой — в один узел связать свою душу с землей.

Семачий пригляделся к своим людям в усадьбе — охвачены ли они так же, как и деревня, весенней жаждой труда? Сев ячменя и овса уже произведен лудовскими тракторами. Земля под огород вспахана и разделана, постепенно засаживается. Небольшой пока табунчик круглые сутки ходит в степи. Возле усадьбы пасутся три породистые коровы. В птичьем загоне гуляют куры, в клетях похрюкивают свиньи. Во дворе продолжается стройка. Озабоченный то тем, то другим, во дворе мелькает управляющей Иван Алексеевич. На его производственный пыл время года не влияет.

Вот только сторож отчего-то замер в воротах с задраным кверху лицом, не то всматриваясь, не то вслушиваясь во что-то ему одному ведомое. Семачий отвел коня в конюшню, вышел оттуда — сторож как стоял, так и стоит в зачарованной позе. Из глубины двора Семачий к нему обернулся — сторож все еще не изменил позы. Прошло еще сколько-то времени — он все так же стоял с задранным кверху лицом. Весеннее обалдение... Однако ж он не цапля на болоте, чтобы часами простоять на одной ноге. Надо сказать Ивану, чтобы завтра же снарядил сторожа в огород. За двором присмотрит «дворняжка», тот, что сейчас, жмурясь на солнышке, не спеша вяжет метлы.

Из степи с обеденной дойки вернулась на повозке скотница, улыбнулась хозяину крашеным ртом. Зовут ее Эльвира Ивановна, она из бывших зоотехников разрушенной фермы. Работник она неплохой, но мысли ее, конечно же, поглощены детьми и домом.

У поварихи Татьяны Волохи весной посветлело смурное выражение лица. Ее спелая девственная грудь иной раз тре-

петно вздрогивает, словно кто-то сзади крепко обнял ее за талию. Семачий как-то проследил за ее взглядом и открыл, что она тайно наблюдает за управляющим. Интересное дело. А впрочем, других женихов в усадьбе нет. Иван, конечно, об этом не знает. А если б узнал, пышное тело могло бы, возможно, стать для него наградой...

На обзорной вышке видна фигура Ольги в белом. О чем она думает там, наверху? Наверно, сожалеет, что перед ней не швейцарские виды. Прошлой осенью Семачий обучал ее на бухгалтерских курсах, где она и компьютер освоила. Ведет документацию и в ужасе от расходов.

— На что ты оттуда, сверху, смотришь? — спросил ее вечером Семачий.

— На тебя, — ответила она.

— И что же видишь?

— Теленка, который безмерно счастлив, что попал на знакомый лужок.

— Кто-нибудь разделяет с ним его радость?

— Никто, — решительно ответила она.

— Ты хорошо, Оленька, посмотрела?

— Хорошо.

— А где же ты, Королева моя?

— Ты же знаешь, я не поклонница сельского пейзажа.

— Но мыслишь уже по-сельски.

— Это ты про теленка?

— И про лужок. Погоди, он скоро зазеленеет и тебе понравится.

— Нет.

— А с цветами?

— Тоже нет.

— Погоди, я еще одну прелест знаю: душная почка, дурманящий запах сена, и мы с тобой на его перине.

— Ну и что? — равнодушно спросила она.

— Ты еще не знаешь тайны луговой ночи.

— Ну и какая она?

— А такая, что бесплодие как рукою снимает.

— Шутишь?

— Проверено опытом.

— Неужели? — поморщилась Ольга.

— Я когда молодым из столицы домой приезжал, геройствовал жутко. И всегда было лето, свежесметанный стог, чья-нибудь молодка под боком, и в результате — птенец сенокосца.

— Что, и рожали? — подняла брови Ольга.

— Такие слухи до меня доходили.

— Оруджием кто-нибудь из них становился?

— У нас полдеревни Оруджих. От Леньки, от Кольки, от Петьки — все равно Оруджий родится.

— А Семачие были?

— Нет. Эти чужих жен не баловали. Семя в гнездо сливало. А жены, из благодарности, подкидышиами их не награждали. — Семачий взял руку жены и прижался к ней щекой. — Мы, Оленька, пройдем с тобой через чары луговой ночи, и когда у нас появится маленький, ты поймешь, чем хороша сельская жизнь и для чего нам нужна усадьба.

— Кстати, у нас ферма или поместье? — спросила жена, оставляя без внимания перспективу луговой ночи. — Если ферма, она должна приносить доход.

— В том случае, Королева моя, — сразу посыпал Семачий, — мы прогоним со двора милейшую Эльвиру Ивановну, и ты сама будешь доить коров, чистить стайки, кухарить у печи. Я распрошуясь с Иваном и с прочими, буду пахать, пасты, сообща мы будем трудиться от зари до зари, и тогда, возможно, дождемся скорых доходов. Ты это имеешь в виду?.. Я же полагаю быть одновременно и поместьем, и фермой, и заводом, и коммерческим предприятием — всем, чем потребуется, и потом уже говорить о доходах. Уверяю тебя, они будут. Но я одобряю твое намерение поступить в ученицы к Эльвире.

— Ты серьезно, Семачий? — изумилась жена.

— Абсолютно серьезно. Завтра и приступай. Бухгалтерия по-прежнему за тобой.

Весеннее вдохновение своего хозяина усадебная команда ощутила за посадкой сада и парка вокруг хозяйственного дома. После того как строители по архитектурному плану разбили

участок, нарезали дорожки и положили бордюры, Семачий вывел всех, включая жену и скотницу Эльвиру, на посадку деревьев. Жена и Эльвира занимались цветочными грядками. Мужчины поливали и закапывали саженцы. Хозяин с помощью Леши Свистка засевал лужайку перед домом.

— Зачем сеять траву, когда она и сама растет? — качал головой Леша.

— Деревья тоже сами растут, — заметил хозяин.

— Ну эти понятно, они для тени. Цветы — тоже понятно, а трава зачем? По ней и пройтись будет нельзя.

— Нельзя, — подтвердил Семачий. — Будем поливать ее и косить — до глубокой осени зеленой простоит.

— Морока, — фыркнул Леша.

— Англичане хорошую лужайку лет триста растят.

— У них времени пропасть.

— У нас что же, его нет?

— У нас оношибко быстро меняется. До тебя тут какая ферма была, не чета твоей. Из бетона и камня строили, думали, на века — и уже ее нет. А ведь новая была, двадцать лет не выстояла — по кирпичику растащили. Ты за реку подымись — там хранилища колхозные брошены. Ну ладно, те старые. А зерносклад уже по новым временам из церкви перевели, новенький построили. Зерна в нем и года не хранили, вмиг разорили. Ты говоришь, газон. Неделю его не побреи — он уже запаршивеет. Какие у нас века — баловство!

— Ты думаешь, и ферма моя — баловство? — холодно глянул на «дворняжку» Семачий.

Свисток прикусил язык, поняв, что заболтался. Но охота порассуждать в конце концов пересилила. Вкрадчиво, с оговоркой, а свое все же сказал:

— Сам себе думаешь — не баловство, но оглянись, против чего стоишь? Миром брались — не сдюжили. Начальство насаждало — не захотели. Ты взялся всех превзойти. На забаву, на цветочки, на травку, может, чего и выйдет. А чтоб землю поднять, на века, как ты говоришь, — тут такие силы нужны, каких в здешних местах отродясь не бывало. Думал ты об этом, когда затевал? Или ты полагал, что наша тут жизнь — дурь сплошная?

Взгляд Семачего затвердел настолько, что зарвавшемуся мужичонке сделалось не по себе.

— Что сплошная дурь — не полагал, а что ее много — пример перед глазами. Месяц назад ты метлу в руках держать не умел, а сейчас учить вздумал. Хуже того — поучать. Хотел я тебе за работу сто грамм налить, теперь не напью.

Умудренно-значительное выражение лица Леши измаялось в обиженной гримасе.

— Иван Степаныч, да вы что? Я вам вроде правды, а вы сразу наказывать?

— Чтобы не вроде, а подлинную правду сказать, надо заработать на это право, — отчеканил хозяин и пошел прочь.

— Иван Степаныч, неужто не заработал? Днями на вас тружусь, копейки не спрашиваю, а вы последнего удовольствия лишаете? — Леша едва поспевал за уходящим хозяином. — Да если б сами не заговорили... — лепетал он, — а то раздразнили — и обижаете. Зачем же так? Я в два, в три раза вам отработаю!

— Когда отработаешь? — на ходу спросил Семачий.

— Да хоть сейчас! — с надеждой выдохнул мужичонка.

— Сейчас? Ну пошли, — сказал хозяин и повел бедолагу в свиную клеть. — Выскоблишь тут и смоешь. Гляди, чтобы вода в падь по стоку ушла.

Леша с тоской оглядел свиные хоромы.

— Я, Иван Степаныч, с утра на ногах, не приседал еще, заныл он.

— Кто обещал отслужить?

— Я на будущее говорил.

— В будущем и налью.

— Нет уж, Иван Степаныч, охотка прижимает сейчас — сейчас я сделаю.

— Как сделаешь, вымоешься — приходи, вместе выпьем. Но дистанцию соблюдай. Я тебе не брат и не собрат, а пан. Не забывай этого.

Глава VIII.

Мастера-странники

Семачий скакал в деревню к отцу Владимиру, чтобы договориться об освящении усадьбы и дома. К этому событию он приурочивал большой праздник с гостями и угощением, надеясь порадовать жену и дать ей возможность почувствовать себя хозяйкой.

У трассы Семачий придержал коня и оглянулся на усадьбу. Она лежала посреди малахитового простора, наползшего на двор со степи и плавно спускавшегося с нагорья, где были поля фермера. Вместе с розовевшими вдали сопками, ходившим в степи табуном и пасшимися у ограды коровами это было ничуть не хуже Швейцарии. Воздух на горизонте голубовато туманился. Земля в утренний час дышала свежестью и прохладой.

Семачий привязал у церковной ограды коня и вошел в пустынный двор с серым угремым остовом старой церкви и временной часовней, под которую был приспособлен нарядно раскрашенный вагончик со сверкающим куполком наверху. Возле часовни отец Владимир беседовал с двумя страннического вида мужичками, прямо-таки сошедшиими с картин художников-передвижников второй половины XIX века. Одеты они были в помесь монашеского и крестьянско-ремесленного. На одном, низеньком и кряжистом, — что-то похожее на полукафтан, под которым видна рубаха, подпоясанная узенькой тесьмой, в руках он мнет картуз, сияя огромной плешью. На другом, длинном и тонком, — долгополое одеяние, на голове конусовидная шапочка, он похож на монаха. На ногах у обоих бурье сапоги на низком, почти слившемся с подошвой каблуке. Через плечо у странников перевешены холщовые сумки, спереди у длинного с пояса свисает чайник, у короткого — котелок. Сбоку у каждого приложены зачехленные топоры, у низенького за спиной — обернутая тряпицей пила. Низенькому лет пятьдесят, плешь его окаймляют длинные сивые лохмы, лицо гладкое, бритое, живое. Беседу с попом ведет он. Его спутник совсем еще отрок с нежным пушком под губой, с вытекающими из-под скуфейки черными, до плеч, прямыми прямых волос, темные брови изогнуты домиком, будто он чему-то удивляется, нос прямой, опущенный долу, туда же обращен и потупленный взор. Он молча слушает разговор, всецело полагаясь на ораторское умение старшего товарища. На полтора века парочка припоздала. Интересно, кто они и откуда?

Отца Владимира явно затруднял разговор со странниками, и он обрадовался фермеру.

— Дело-то какое, — обратился священник к Семачему. — Мастера явились церковь править, а у епархии на то ни денег, ни материала нет. Говорю им, в город ступайте, там храм возводится, может, сгодится, — отказываются.

— Мы сюда посланы, — сказал плешивый, переведя взгляд со священника на фермера.

— Да кем посланы? — расстроился поп.

— Приказом небесной канцелярии, — с готовностью объяснил короткий.

— Кто же такие приказы дает? — устало вздохнул священник.

— Как кто? Служителю Божьему неизвестно? — удивился коротенький мужичонка.

Семачий решил вмешаться.

— Откуда будете, мужики?

— Мы-то вятские, — похвалился короткий.

— А что ж без лаптей? — еще раз оглядел фермер их наряд.

— По нашему занятию нам они не положены. Мы мастера — правим, починяем, наново ладим — все по духовному установлению.

— Лапти не положены, а сермяги положены?

— Так это расхожее. Выправим церковь — наденем праздничное.

— Я ж говорю вам, восстанавливать церковь не на что, все средства на городской храм ушли! — осерчал поп.

— Мы наслышаны, что народец здешний маломощен, ленив и миром браться не любит. Сами сделаем.

— Без ничего и вдвоем? — изумился священник.
— Инструмент при нас, природой здешние места не обижены. Осилим, как ты думаешь, брат? — обратился короткий к товарищу.

Отрок еще застенчивей опустил голову.

— Оно, конечно, нехорошо народу потачку давать, — рассуждал низенький, — но кто-то же должен замкнувшимся души открыть и церковь-страдалицу пожалеть. Мы и колоколенку к ней приставим, а то срамно звоните, — указал он на свисавшие с перекладины колокола.

Отец Владимир насупленно промолчал, а Семачий поинтересовался:

— Не проголодались с дороги, мастерки?

— Было дело. Да вот, деревней прошлись — милостыню собрали.

— Чем же вас народ одарил?

— Молоком поили, яйца выносили — кто вареное, кто сырое, также картошечки вареных. Хлеба редко в каком дворе жаловали. Не родится здесь хлебушко?

— Деревня не сеет. Молоком пробавляется, огородами, — пояснил Семачий.

— Как можно хлеба не сеять? — поразился низенький, переводя взгляд с Семачего на отца Владимира.

— Тебя, мастера, с чего это заботит? Сам тоже ведь от земли оторвался? — поддел Семачий.

— У меня корни крестьянские. Родился крестьянином и крестьянствовал, пока по способности на иной путь не переложился. А вот товарищ мой ремесленного сословия.

— А чего он молчит? Немой или чересчур скрытный? — спросил фермер.

— Он образ в себе держит, в него смотрит, — пояснил низенький.

— А ты держишь?

— Не дано мне незримого видеть. Брат обсказывает, я в зримое перевожу — так и напарствуем.

— Как вас зовут?

— Я Симеон Бурко, откликаюсь на имя Бурко, — назвал себя низенький. — А товарищ — Питирим Деев, откликается на имя Петиня.

Длинный при произнесении его имени запунцовел.

— А я Иван Семачий, хозяин вон той усадьбы, — фермер указал рукою в зеленый простор. — Помощь понадобится — приходите.

— А то как же, придем и помочи спросим, — расположился к нему словоохотливый крепыш.

Кивком еще раз заверив мастеров в поддержке, Семачий повернулся к отцу Владимиру.

— Пройдемте, Иван Степанович, в храм, там побеседуем, — кивнул ему священник и повел фермера в часовню. Мужичкам велел подождать. Те поднялись на крыльце старой церкви и расположились на нем с едой, собранной в деревне. На тряпичку были выложены вареные картофелины, яйца, зеленые перья лука, принесенная с собой в дорожном мешочке соль, по кружкам из чайника разлито молоко. Пока занятые люди совещались в часовне, мастера позавтракали.

— Доложу о вас в епархии, — сказал им отец Владимир, выйдя с фермером из часовни. — Как там решат, так и будет. Куда вот только вас разместить?

— Не трудите себя беспокойством. Мы сами mestечко сыщем, — заверил крепыш Бурко.

— Идемте ко мне, — предложил Семачий.

— Не положено нам из села уходить. Возле церковки будем. Скиток рядом поставим. Эвон сколько простора, — отозвался Бурко.

В ответ на его слова отец Владимир поморщил губы, но вслух ничего не сказал. Эти невесть откуда взявшимся мастера все же оживили в нем надежду на ускорение дела.

— Как, ребятки, в епархии вас представить?

— Скажите, люди пришли, гораздые во всяком умении, хоть по дереву, хоть по камню, хоть по железу, в списки знают, иконы пишут и берутся дух Господень в страдальную церковь вдохнуть, — возвеличил себя и товарища плешивый мастер.

За оградой Семачего дождалась невысокая женщина лет тридцати семи, с коротко стриженными черными волосами,

синеглазая, одетая в брючный костюм и туфли на высоком прямом каблуке.

— Все в церковь, никто в клуб не заглянет, — с обидой в голосе сказала она.

— А где тут клуб? — спросил Семачий, удивляясь тому, что сколько в деревню ни ездил, ни разу клуба не видел.

— Так вот же он, за тополями, — показала женщина на одноэтажное продолговатое здание из белого кирпича, вместе с белыми казенными постройками и церковью составлявшее административный центр села.

— Никогда б не подумал, что клуб, скорее на библиотеку похож, — сказал Семачий.

— Деревне хватает, лишь бы в хорошем состоянии был. Да вот ремонтировать его не на что. Идемте, посмотрим!

Первой мыслью Семачего было отказаться, сесть на коня и уехать, но женщина с таким ожиданием на него смотрела, что он не посмел, хоть и понимал, что ничего хорошего от этого посещения не выйдет.

— И вы пойдемте, — позвала женщина мастеров, слушавших разговор за церковной оградой.

Мужички поколебались, но пошли. Отец Владимир одноким перстом замер на церковном дворе.

— Я заведующая клубом Екатерина Викторовна Михайлова, — представилась по дороге женщина. — Сына моего вы уже знаете, а меня видите первый раз.

— А кто ваш сын? — не сообразил фермер.

— Юра Михайлов, на ветеринара в сельхозтехникуме учится. Вы ему обещали на практику к себе взять.

— Ах, да, помню. Ну и что же он?

— Первый курс заканчивает, экзамены сдает. Только и думает, как к вам прийти.

— Пусть приходит, работа найдется, — сказал Семачий.

В разговоре женщина так и искрила, так и вспыхивала синим взглядом, словно в ее глазах полоскался солнечный луч. Семачего это расположило к ней. И плечистый Бурко, на которого она так же взглядала, ответно таял и цвел. Юный мастер ничего этого не замечал, так как шел потупивши взор.

Но когда они вошли в клуб, вся живость на лицах погасла. Семачий не раз в этой деревне стоял перед полным запустением, но сейчас оно его обозлило. Да есть ли что-то святое у здешних людей? Юный мастер пытал не то стыдом, не то гневом за то, что доброю волей вошел в нечестивое место. Старший мастер шумно вздохнул и кратко выразился:

— Не красно.

— Я бы сама побелила и покрасила, но главное — потолок. Он вот-вот обрушится. Мне одной не справиться.

— Да, починки тут много, — согласился Бурко, обводя взглядом небольшой зальчик с крошечной сценой, донельзя обшарпанный и обветшавший.

— Вы поможете? — с надеждой посмотрела на мастера заведующая.

— Светского и мирского не исполняем, мы по духовной части, — ответил Бурко.

— Клуб разве — не по духовной? — вспыхнула заведующая. — Здесь у нас вся культура: детские утренники, молодежные вечера, праздники, художественная самодеятельность.

— Как же можно дорожить чем-то и не беречь? — покачал головой Бурко.

— Мы пять лет без ремонта, а закрыть клуб боимся — за одну ночь по кирпичику разберут. Из района приезжали, признали помещение аварийным, акт составили, а денег на ремонт не дали. Раньше совхоз помогал, теперь его нету. Сельсовету не по силам. У райотдела культуры нет средств.

— Вся надежда на доброго дядю? — жестко усмехнулся Семачий.

— И это действительно так, — вздохнула заведующая. — Я готова на коленях молить о помощи.

— А что же сама деревня? Парни у вас здоровяки, девки и того пуще. Лень им силенку поиздержать? Браться надо сообща, иначе не вижу смысла. Согласны вы на такой вариант?

— Я-то согласна, — неуверенно произнесла заведующая.

— Не о вас речь, Катерина Викторовна, а о деревне. Пойдет она на такие условия?

— Не знаю, надо с людьми говорить, пообещать что-нибудь...

— Что им пообещать? Плату? — разозлился Семачий.

— Не плату, но, может быть, праздник, гулянье, — робко сказала заведующая.

— Ладно, это включим, — согласился Семачий. — Остальное на паях с участием всех сторон — деревни, района, сельсовета, спонсоров. Может быть, мастера поддержат общество?

— Я согласен, — вдруг объявил Петиня.

— Ну тогда и я с ним, — помедлив, кивнул Бурко.

— Дело, считай, обговорено. Катерина Викторовна, привлекайте участников, — сказал Семачий. — И вот еще что. Вы тут всех знаете, мужиков на постой надо бы устроить, да чтобы не к пропойцам.

— Это просто, Иван Степаныч. У меня на примете есть удобная квартирка, а молоко я сама буду им носить, — снова заискрила глазами заведующая.

Отец Владимир так и стоял во дворе, гадая, какие разговоры ведутся в клубе. Увидев, что заведующая уводит с собой мастеров, он подбежал к воротам, где Семачий отвязывал коня, и с беспокойством спросил:

— Катерина что — переманила к себе мастеров?

— Они оказались ребята покладистые, — весело сказал Семачий.

— Так они же на церковь пришли! — опешил священник.

— Вам они вроде как не нужны, — забавлялся Семачий.

— Как не нужны? — вскипел тот. — А церковь кто ремонтирует будет?

— У вас же средств нету.

— А у клуба они есть?

— Общими силами наскребутся.

— Вы даете?

— И я немного подсыплю.

— Та-ак, — с горечью протянул отец Владимир. — А на церковь, значит, дать не хотите?

— Почему не хочу, я же обещал. Но одних моих денег на восстановление не хватит.

— Сейчас в епархию еду, — решительно заявил священник. Скосив глаза на заворачивающих за угол мастеров, снова заволновался.

— Куда это они?

— На квартиру устраиваться.

— А кому?

— Вам, батюшка, не все ли равно?

— Здесь полдеревни пьяниц и самогонщиков.

— Это ваша паства, отец, правьте их души.

— Выправиши их, нечестивцев, — проворчал поп.

— За мастеров не волнуйтесь. Они, похоже, люди устойчивые, — сказал Семачий и, запрыгнув в седло, прибавил: — Передайте владыке мое приглашение. На днях в городе буду — заеду окончательно договориться.

Катерина привела мастеров ко двору покойного ныне старшего из братьев Триединых — Льва Сударикова. Через низкую ограду громко окликнула хозяйку.

Из глубины двора вышла истаявшая от невзгод и работ, но еще упрямившаяся смерти старая женщина.

— Теть Тань, вот вам постояльцы во вторую избу, — сказала ей Катерина.

— Не хочу никого, — дребезжаще запела женщина, двигаясь по двору, словно невесомая былинка, и держа руку на сухой груди.

— Теть Тань, ты только взгляни, кого я тебе привела, — уговаривала Катерина.

Женщина внимательным и долгим взглядом посмотрела на мужиков — и наконец выдохнула из надсаженной груди:

— Этих возьму, пусть входят.

На Петиню она даже перекрестилась, как на святой образ.

Глава IX.

— Копытчен — Гнездо и Стюни вед —

Чародейка

Во дворе вернувшемуся из деревни Семачему повстречалась скотница Эльвира. В вышитой шелком белоснежной блузке с широким вырезом вокруг шеи она была статна, представительна и несомненно красива. Необыкновенно густые, светлые, в круtyх завитках волосы, большие карие глаза, яркие губы. Семачему нравилась видеть у себя во дворе эту женщину. Нравилось видеть ее походку, величественную осанку, нравились окружающие ее чистота и порядок, но более всего нравилось, как хорошо у нее получаются молочные продукты: творог, сливки, масло, сметана. Увидев хозяина, Эльвира, как всегда, просияла ему красногубой улыбкой. Придержав коня, Семачий спросил:

— Как успехи моей жены?

— Пока что не очень.

— Так долго — и не очень?

— Она у вас слишком нервная, коровы зажимаются перед ней и не отдают молоко.

— Ладно, приеду взглянуть, — пообещал хозяин.

В обеденную дойку он прискакал на пастбище. Ольга в самом деле без пользы мучилась. Она тянула и давила соски, а молоко из них не бежало. Черно-белая корова беспокойно встряхивала рогатую головой и косила сердитым глазом на неумелую доярку. У Эльвиры по соседству в ведре так и звенякало.

— Дай-ка я, — подсел Семачий к жене и так ловко взялся, что в подойнике тоже громко зазвенякало. Корова от удивления присмирела. Эльвира со своего места засмеялась. Немного подоив, Семачий снова заставил жену взяться за коровьи соски, накрыв ее руки своими руками, и то сдавливал кулаки, то, разжимая, слегка потягивал соски книзу. Молоко цвиркало тугими струйками.

— Поняла? — спросил он.

Ольга кивнула.

— Теперь давай сама. Не напрягайся, бери легкой силой. Нажала — ослабила, рук не отпускаешь, работаешь, как насос.

Из-под Ольгиных кулаков брызнули прерывистые белые струйки.

— Живее... Живее и легче, — подсказывал Семачий, сидя на корточках рядом. — Не пережимай, чувствуй меру, когда давишь...

Струйки побежали веселее и обильнее.

— Видишь, получается, — похвалил муж. — Крестьянская работа вся из повтора одних и тех же движений. Понимаешь теперь, откуда у сельчан терпение и выносливость?

Ольга надоила три четверти ведра и уронила в изнеможении руки. Семачий проверил, выдоена ли корова, сам протер влажной тряпкой вымя.

— Больше никакой школы. Сама, сама — и с полной загрузкой! А вы, Эльвира Ивановна, плохой учительницей оказались, — шутливо упрекнул хозяин работницу.

— Непонятно, должно быть, показывала, — с загадочной улыбкой отвечала Эльвира.

Ольга промолчала. А дома сказала мужу:

— Долго еще ты будешь держать меня возле Эльвиры?

— Тебе разве с такой женщиной нехорошо?

— С какой такой? Думаешь, она милая и покладистая? Она самая настоящая змея. Мы друг друга не переносим.

— Ну, это ваши женские разборки, — отмахнулся он.

— Никаких разборок. В чем мне с ней разбираться? В том, что она заглядывает на тебя? Так это она на всякий случай хвостом крутит, авось попадешься. На самом деле ей совсем другое от тебя нужно.

— А что ей от меня нужно? — заинтересовался Семачий, видя, что жена завела разговор не просто из ревности.

— Ты еще не понял, что она воровка? Причем самая наглая — я таких за версту чую.

— Я замечал, что она понемногу уносит, — пожал он плечами.

— Не хотелось из-за малости скандалить, все-таки у нее дети. Думал, с большим поймаю — остановлю. Она пока нормы не перебирает.

— О, она осторожничает. Она еще не соблазнила тебя. Как соблазнит — братя не так будет...

— А ты, Королева, на что? Не зря я тебя возле нее держу, — успокаивающе произнес Семачий.

— Меня она боится и всячески отшивает. Думаешь, за столько дней я бы не научилась корову доить? Она что-то делает — ворожит, заговаривает, колдует, я не знаю, но рядом с ней у меня ничего не выходит: корова не дается, сепаратор ломается, масло не сбивается, творог переваривается, сметана затекает водой.

— Ну, не списывай на нее свои неудачи...

— Нутром чую — напускает порчу! — всхлинула жена.

— Коли так, то ее проделки скоро закончатся. На днях мы освящаем усадьбу. Колдовство потеряет силу. А ты все-таки поучись у Эльвиры, мастерица она отменная. А что учить тебя не хочет... Ладно, подключим Ивана. Он все на лету схватывает. Докопается до ее секретов, потом тебе растолкует — а ты уж перенимай, не ленись.

— Зачем тебе нужно, чтобы я умела то же, что и работники? — обиженно спросила жена.

— Чтобы представлять себе, чему ты хозяйка. Сельского воспитания у тебя не было. Кроме того, я подумываю, не завести ли нам фирму «Молочные продукты от Семачего. Высшая категория вкуса и качества».

— Она тебе нравится? — беспокойно спросила жена, оставляя без внимания упоминание о фирме.

— Да, очень. Люблю смотреть на нее. А что она бесовка — так от этого нравится еще больше. Но ты не страдай попусту. Она не королева. Королева у нас ты.

Он взял ее руки в свои, поцеловал одну и другую.

— Счастлив буду еще раз убедиться в этом на нашем с тобой празднике. — И, уходя в свои мысли, пообещал: — А воровать я ее отучу.

В усадьбу за лошадью и повозкой пришли церковные мастера Бурко и Петиня. Семачий обрадовался им, как дорогим гостям. А тезка-управляющий с одного взгляда влюбился в обоих и засобирался с ними в лес искать и метить пригодные для строительства сосны. Но хозяин его не пустил, потому что в усадьбе работы хватало, и наказал ему снарядить путников тяглом и продовольствием.

Повариха Татьяна, вместе с кухонным скарбом въехавшая в новый хозяйствский дом и наловчившаяся в духовке электропечи выпекать хлеб, булки и пироги, с охотой выделила странникам несколько свежих утренних караваев, а также крупы, сахара, масла. Она приняла хожальных людей за праведников, особенно молодого и кроткого монашка. Ее так и подымало припасть к краю его одежды с мольбой о счастливом разрешении своей сердечной боли. Не осмелившись сделать это прилюдно и вслух, она несколько раз про себя проговорила заветное желание, и странник, словно услышав ее, одарил девственницу милостивым взглядом, в котором она усмотрела добрый знак своему чувству.

Для гостей и хозяев в столовой накрыли большой стол. Татьяна расторопно носила из кухни подносы с удивившимся ей сегодня обедом. Ее зеленые щи с яйцом и сметаной обедавшие похвалили, понравилось и жаркое из картофеля с мясом, и румяная сдоба. И сама разгоряченная повариха напоминала свежеиспеченную булку.

Один только милый птенчик Ванечка ее огорчал. Он не ел и не пил, искусства ее не хвалил, всецело занятый пришедшими мастерами. И всегда-то он едок плохой: клюнет раз, клюнет другой — и съят. Так бы, кажется, и закормила его, будь у него интерес к пище.

Кроткий монашок ест, не подымая глаз. Зеленые щи ему по душе. Татьяна дважды уже подливалась в его тарелку. Старший странничек, сияя широкой плестью, успевает есть, пить и беседовать с хозяевами. Хозяин настолько увлечен разговором, что не ублажает хозяйку излюбленным «Королева моя». Скучая, она помалкивает и больше пьет, чем ест.

Разговор вьется вокруг предстоящей поездки. Мастера собираются идти по хребту, отбирать и метить подходящие деревья. Они уже подсчитали, сколько им необходимо леса на ремонт старой церкви и строительство колокольни, сколько потребуется распилить на доски. Расход получается большой, и хозяин сомневается, что лесхоз позволит епархии вы-

рубить столько сосен в пригородной зоне.

— По деревцу тут да там — вреда не будет. Матерые сосны, которые семена сыплют, мы не тронем, будем метить перестой.

— Чем же вы их поштучно-то из разных лесов вытягивать будете? — покачал головой хозяин.

— Мы у вашей милости пароконку спросим, — сказал Бурко. — Где катком, где волоком, где сама пойдет, а там затреплюем в упряжку.

— Это сколько же вам народу и времени потребуется?

— За зиму справимся.

— Я с ними пойду, — снова вызвался Филимонов. — Трелевать могу, упряжь знаю, троса, лебедки мы заготовим.

— Зимой, может, и отпущу, — сказал хозяин, — а пока не дергайся — сами еще только на ноги встаем.

В эту минуту из кухни, оставленной поварихой без присмотра, Белоснежкой выступила Эльвира, неся на подносе дары своего цеха: молоко в приземистой крынке, сметану в фаянсовой утице, творог горкой и яйца россыпью. Все при виде ее смолкли. Монашек поднял глаза на белую женщину, и под его чистым и праведным взглядом она потупилась, слегка подпортив этим царственность своего выхода. Монашек виновато уронил взгляд, а она с улыбкой прошествовала к столу.

Хозяин встретил ее одобрением, хозяйка сердито свела брови, монашек не поднимал глаз, а Бурко восхищенно на нее взорился.

Эльвира с охотой приняла приглашение, села за стол, выпила из поднесенной рюмки, сама налила в свою тарелку щей и, войдя в беседу, незаметно перевела разговор на себя.

— Мне хорошо знакомы эти места, — сказала она, услышав, что речь идет о путешествии на хребет. — Отец был лесничим, держал пчел, и мы с пасекой кочевали по всем тем горам. Сколько там цветов! Красные и желтые саранки, ирисы, марьины коренья — целыми полянами... Я с братьями пасла коров. Мы их доили и молоко перерабатывали на месте, потому что домой носить было далеко. Там я всему научилась: как делать сметану, как творог, как сыр. У папы было две лошади — лесничему это разрешалось. Мы перевозили на них улья, пахали огород и маленькие поля в сопках — гречихой их засевали. Можно сказать, что я выросла среди запахов леса, травы, цветов, молока и меда. Пила воду из всех горных ключей, исходила все пади, перевалы и сопки. Даже охотиться научилась. У папы было много детей и много коров. Если б узнали, сколько у нас скота, наверно, поприжали бы, даже и не посмотрели бы, что через охоту папа водил дружбу со всем начальством. Летом коровы гуляли в сопках, а в холода их держали в зимовье. Мы, дети, поочередно там жили. Папа много накачивал меду, набивал дичи, сдавал скота, гречка лежала у нас мешками. Когда мы выросли, папа всех нас выучил. Я закончила сельхозинститут, имею диплом ученого-зоотехника, но по-настоящему знаю лишь то, чему научилась у папы дома.

От нескольких принятых рюмок язык у Эльвиры расплелся, запахи цветов в ее рассказе мешались с хозяйственными хитростями ее отца. Ее воспоминания увлекли всех, включая и не терпевшую ее хозяйку. Хозяин о чем-то задумался, плешивый мастер блаженно улыбался, в глазах у монашка горел некий нездешний свет. Ванька сидел как на иголках, его подымало мчаться на поиск цветущих полян, кочевать с пасекой, пить свежий мед, запивая его молоком от пасущихся в сопках коров.

— Ну что ты так смотришь, сам скоро все увидишь, — не выдержала Эльвира света Петинных глаз. — А ты, Иван Алексеич, даже не думай, тебе в те места не попасть, — обронила она управляющему.

— А мне? — задал вопрос Семачий.

— Вам, Иван Степаныч, можно было бы, да не позволит хозяин.

Эльвира зябко передернула плечами, поднялась и подалась вон, как и пришла, через кухню.

— Провидица, блин, — ругнулся Ванька.

Но обед уже кончился, все встали, мужички спешили ехать, и управляющий верхом проводил повозку до подъема на хребет, распрощался с уезжающими и повернулся к табуну.

Глава X. Субботник

Со свойственной ей настырностью Катерина взялась выбивать деньги на ремонт клуба, всюду потрясая именем фермера Семачего, как флагом, и убеждая инстанции, что если они выделят сколько-то, то фермер тоже даст, и сообща они наберут достаточно. Понемногу раскошелились все — и район, и сельсовет, и Лудов по старой памяти, и богатые дельцы, которых она обошла. Но больше всех помог Семачий. Он прислал бригаду и технику и в несколько дней заменил перекрытия и обновил крышу.

Катерина обошла деревню, переговорила с каждым из молодых ее жителей и от каждого добилась согласия на участие в субботнике.

Июнь заканчивал третью свою неделю. Лето было в молодой и пьянящей силе, оно хорошоело, как подросшая девушка, обещая еще большие прелести в будущем, но уже в этой поре оно пело радостью днем и призывающими кликало ночью, волнуя сердце и разгоняя сон молодых женщин. От молока ли, настоящего на цветущих травах, или от воздуха, возвращенного в себя дыхание лиющейся природы, они становились ведьмами, притягивая к себе своих и окрестных ухажеров.

На субботник собрался весь ипатьевский молодой народ, пришли и чужие из соседних поселков — поглязеть, побалдеть, потусоваться. Парни и девушки стояли под тополями, переговаривались, похватались, в клуб не спешили. Катерина, чтобы подбодрить их, включила музыку. Управляющий с фермы Иван Филимонов вынимал из рам разбитые стекла, Семачий прикидывал в уме, как занять столько подваливших работников. Катерина выходила к ребятам, звала, но никто не решался идти первым. Тогда Семачий вырубил музыку и вышел сам.

Молодежь примолкла при его появлении.

— Ну что, ребята, думаем? Работа ждет, — сказал он.

Из кучки парней кто-то расслабленно обронил:

— Работа не волк...

— А на посошок? — вывинтился оттуда же резвый голос.

— Вы зачем шли? — сухо спросил Семачий.

— Поглядеть, что будет, — ответил широкий в плечах богатырь, каких здесь было немало.

— Без вас ничего не будет, — сказал Семачий.

— Тогда на посошок! — заканючил тот же разбойный голос.

— Субботник — дело добровольное. Кто хочет работать — подходит ко мне, кто хочет глазеть — оставайся на месте, — объявил Семачий.

— Без интересу мантульть не будем, давай уговор, — за всех высказался широкоплечий.

— Да, Степаныч, без обещания не столкуюсь, — подсказал возившийся в окне Филимонов.

Семачий окинул взглядом толпу.

— Ладно, будет вам уговор. Сперва от вас работа, потом от меня угощенье. За день нужно отработать все здание: котельную, зал, подсобку. Требуются штукатуры, побельщики, маляры, плотники, подсобные работники. Кто согласен, разбивайся на группы.

Молодежь зашевелилась, послышались возгласы:

— Я штукатур, я штукатур... Кто со мной?

— Я маляр — есть маляры?

Вокруг широкоплечего сбилась плотная компания.

— Вы кто? — спросил Семачий.

— Плотники.

— Многовато. В плотники пойдут только специалисты. Ты специалист? — обратился Семачий к широкоплечему.

— Молотком тюкать могу. А вообще я по механизмам, — отвечал тот.

— Ты из Триединых?

— Из них, — заулыбался парень. — Виталия Сударь.

— Отец твой механизатор важный. Я им доволен.

Семачий обнял богатыря за плечи, завел на крыльцо, поставил лицом перед публикой.

— Вот вам, ребята, на сегодняшний день бригадир. Слу-

шайте его и подчиняйтесь. Лозунг такой: «Кто днем не работает, тот вечером не пьет самогону!».

О самогоне Семачий упомянул потому, что увидел снующую за спинами ребят Ульяну Гарькавую. «Почуяла ведьма поживу!». И поспешил начать работы.

— Побельщики, штукатуры, подсобники идут за мной. Маляры готовятся к покраске. Плотники поступают в распоряжение знатного мастера Ивана Алексеевича Филимонова.

И молодежь подчинилась. Через некоторое время, разбитые на группы и обеспеченные фронтом работ, все уже трудились. Расчищали и замазывали свежим раствором дыры и трещины в штукатурке, выносили мусор, побельщики орудовали кистями. Во дворе плотники чинили разбитые стулья. Маляры красили их. Не охваченная делом пацанва попыталась было носиться по клубу, но Виталия Сударь сурово попер ее вон. Пришедшие поглязеть не выдерживали безделья и включались в работу. Старики, глядя на труд молодых, вспомнили быльевые годы.

В полдень Татьяна Волоха привезла на повозке обед. Парни пробовали было канючить, что не худо прочистить запыленное горло, но Семачий напомнил, что работа еще не окончена, и жаждущие ограничились компотом.

Еще до обеда работа выстроилась в строгой последовательности и очередности. А когда дело дошло до покраски стен, окон и дверей, она стала нравиться и даже доставлять удовольствие. Некоторым увиделся в ней важный и возвышающий смысл, пробудивший в них горделивое чувство, которое каждый из них, а тем более все вместе, никогда не испытывал. С час или два они трудились в упоении, не отрываясь на перекуры.

Виталия, досматривавший сначала, чтобы в одном месте не скоплялись, зря не сутились и без дела не толкались, сам жадно включился в работу, забыв о бригадирских обязанностях.

Побелена была котельная, там уже красили окно, пол и дверь. В зале готовы были сцена и поперечная стена, отделявшая подсобку. Там, где красильщики окон, сделав свое дело, отходили, в простенках начинал орудовать валик, нанесивший голубую краску. Следом двигалась красильщики полов. В подсобном помещении уже были выкрашены окна, заканчивалась покраска стен, белой эмалью мазалась дверь, по полу ходил валик.

Так как была суббота и деревня с обеда приступала к заглу, к клубу, как самому оживленному в этот час месту деревни, потянулись подвыпившие и разгоряченные. Они заглядывали в окна, окликая работающих, и громко удивлялись, что те еще не балды.

У работающих расстроился ритм, улетучилось очарование труда, появились желания — кому перекурить, кому передохнуть, кому проветриться. Виталия руганью возвращал ребят на место. Семачий объявил перерыв, наказав Витале удержать ребят от выпивки, и пока молодежь отдыхала, быстро обдумал перестановку. Девчат он направил красить рамы снаружи, Филимонова с помощниками — облицовывать мелкой дощечкой входную дверь, на покраску двери в котельную также поставлены были девчата. Таким образом, работа, словно напоказ, выплеснулась наружу, а живой щит из девчат загораживал работавших внутри ребят от любопытных. Рабочий темп труда после перерыва наладился, хотя прежнее упение уже не вернулось.

После семи вечера ребята по одному начали выбираться из клуба. Мыли кисти, сдавали инвентарь Филимонову, разминались, вдыхали в себя свежий воздух — их слегка мутило от угарного запаха краски, они устали и первые минуты просто наслаждались отдыхом, некоторые бежали купаться.

Почти все уже были во дворе. Последний маляр докрашивал участочек перед выходом. Молодежь, толкаясь за порожком, заглядывала внутрь, оценивая плоды своего труда. Все там сияло новизной. Катерина была без ума от преображеного клуба, ей хотелось каждого обнять и расцеловать. У парней был важный и слегка озадаченный вид. Они не верили, что сами, доброй волей и собственной охотой совершили такое.

Семачий жал парням руки, девчата с готовностью подставляли щечку и ответно целовали хозяина усадьбы. Хлопотли-

ый Филимонов тоже попал к девчатаам на растерзание и с удовольствием чмокался с каждой. Подъехавшая с ужином повариха Татьяна, застав эту картину, соскочила с телеги, растолкала стоявших на пути и припечатала милому птенчику давно лелеемый поцелуй, после чего Ванька куда-то скрылся.

К ужину от Ульяны Гарьковой явился и самогон. Молодежь пила, ела и балдела. Семачий в блаженной расслабленности сидел на подвode, свесив ноги, слушал нетрезвые разговоры. Возле него стоял пристроился и тоже глядел на гулянку Константин Триединый.

— Как ты думаешь, Константин, удержали мы клуб? — спросил Семачий.

— Ты-то, Степаныч, чего ввязался? Не все ли тебе равно, есть у нас клуб или нет? — лениво отвечал великан.

— А тебе? — остро глянул на него Семачий.

— Да мне-е... По моим-то интересам — не прозевать бы где дележку.

— Что, и клуб пришел бы разбирать?

— А то!.. Я, Степаныч, как и ты, строиться желаю.

— Что же ты желаешь строить?

— Всякие есть идеи...

— Я слышал, ты каждый год что-нибудь у себя затеваешь и никогда до конца не доводишь.

— Так материалу же не хватает.

— Неужто не натаскал? Во всех расхватах, небось, участвовал. Но клуб уже не твоя добыча, опоздал. Эй, Витали! — остановил Семачий пробегавшего мимо парня. — Сознаете ли вы, что сегодня остановили развал?

— Как-то не очень, Иван Степаныч. Напряглись — сила! Даже не верится, что такое смогли. Но гулять, Иван Степаныч, еще лучше. Идемте с нами! — позвал парень, с маxу врезаясь в толпу.

Молодежь плясала под тополями, горланила и лихо выбивала ногами.

— Подгуляют и за ночь разнесут, что днем сделали, — предрек Константин.

— Не разнесут. Молодым красивой жизни хочется, а не разрухи, — уверенно сказал Семачий и взялся за вожжи.

Из темноты выскочил Филимонов. Он хорошо выпил, но языком и движениями владел.

— Где Татьяна? — спросил у него Семачий.

— С девчатаами в кругу пляшет.

— Ну, ей виднее, — сказал Семачий и тронул упряжку.

— Иван Степаныч, захватите меня, — крикнула им Катерина. Филимонов помог ей забраться в плоскую, собственно изготовления повозку. Татьяна догнала упряженку уже на ходу.

— Еще бы поплясала, — сказал ей Семачий, видя, что девка разгорячена.

— Наплясалась уже, — ответила повариха, запрыгивая и садясь рядом с управляющим, да так тесно придинулась, что ему передался жар ее крутого бока.

Катерина была вымотана до предела и, несмотря на усталость, озабочена сохранностью сохнущих на улице стульев.

— Будет вам, Катерина Викторовна, главное, клуб сберегли, стулья как-нибудь наживем, — проговорил Семачий, и Катерина успокоилась, доверившись сильному человеку.

У двора с просевшим в землю домом, с разболтанным штакетником и привязанной проволокой калиткой Катерина вышла.

«У нее самой надо проводить субботник, да не один», — со вздохом подумал Семачий.

Упряженка пошла дальше. Филимонов подремывал, Татьяна помалкивала, а Семачему хотелось оценки проделанного.

— Как ты думаешь, Таня, не зря мы прожили сегодняшний день?

— Не знаю, — равнодушно откликнулась повариха.

— Ты хоть посмотрела, как мы клуб сделали? — обернулся к ней Семачий.

— Мне без разницы, я в него не хожу.

— За деревню бы порадовалась...

— Еще чего.

— Ну, село! Ни понимания в нем, ни сочувствия! — обиделся он.

— Я вам, Иван Степаныч, сочувствую, — сказала Татья-

на. — Ну чего вы мешаетесь, пусть деревня сама о себе заботится. Вы вот думаете — добре дело для нее сделали, а наши поняли, что вас дуриком обдирать можно.

— Ты, Вань, такого же мнения? — обратился Семачий к помощнику.

— Подходяще поработали, — сонно обронил Ванька, довольно улыбаясь в усы.

— Тебе, Иван Алексеич, только бы работать, — упрекнула его Татьяна.

Семачий рассуждал вслух:

— Неповоротливая крестьянская душа... Неужели я разучился ее понимать? Таня, скажи, я понимаю тебя?

— Вы-то, Иван Степаныч, понимаете, а вот Иван Алексеич — не очень.

— Он другая статья — мастеровщина. У них свой подход к жизни. А мы с тобой, Таня, по рождению крестьяне. Мы должны одинаково чувствовать... И все-таки я не предполагал, что деревня настолько охладела к общественному.

— У нас каждый понимает свое, а как не свое и нельзя взять — так пусть пропадает, — сказала Таня.

Улица кончалась ажурной оградой из белого кирпича, за которой стоял кокетливый, в два уровня особнячок из такого же белого кирпича. Это был двор Эльвиры Ивановны. Въезжая верхом в деревню или выезжая из нее, Семачий обязательно взглядывал через ограду на культурное царство маленьких, красиво размеченных грядок, кудрявого садочка и беленьких чистых дворовых построек. Вот на что потрачен зажиток лесничего. А кирпич на ограду, скорее всего, взят с брошенной фермы. Это тебе не вздорные идеи Кости Триединого. Тут все по уму и со смыслом. Эльвира — рачительная хозяйка. Интересно все же, зачем она работает у Семачего? Из-за пьяницы мужа, в прошлом инженера-механика, который не способен сам поднять подрастающих дочек, — или по природной склонности добывать и тащить в дом добро?

Когда упряжка подъехала к Эльвириному двору, хозяйка стояла за невысокой железной калиткой, опершись на нее и положив голову на скрещенные руки.

— Иван Степаныч, это вы? — тихо спросила она, подымая голову над калиткой. — Я давно вас слышу и жду. Люблю стук копыт и скрип телеги. Ваши повозки на шинах, колеса не стучат, а шуршат. Это тоже приятный звук.

— Сумерничаете в одиночку? — спросил Семачий, останавливая лошадь.

— Дочек жду. Не видели их на гулянье?

Семачий припомнил, что видел двух девчонок, стоявших в сторонке от веселящихся.

— Если б мы знали, что они там, с собой бы прихватили.

— Я на велосипеде за ними съезжу. Они у меня скромные — еще кто обидит.

— Зачем же тогда отпускаете, если боитесь?

— Разве взаперти удержишь? Одной пятнадцать, другой тринадцать — так и рвутся на улицу, точно козы. А отпустишь — страшно. Охламонов в деревне хватает.

Татьяна с ревнивым неодобрением слушала воркотню Эльвиры с хозяином. «О дочках она беспокоится, а сама ишь какие рулады выводит. Хозяин тоже себе на уме — подпевает. В кошки-мышки играют. Неизвестно только, кто кошка, кто мышка».

— Иван Степаныч, поехали, — взмолилась повариха. — Сами устали, Иван Алексеич сморился, мне еще бачки мыть.

Семачий простился с Эльвириой и подхлестнул лошадь. Когда въезжали в усадьбу, Ванька, как ни в чем не бывало, проснулся свежим и бодрым, помог Татьяне стаскать на кухню бачки, отвел распрягать лошадь. Хозяин прошел по двору, проверил, все ли в порядке.

Закрыли ворота, спустили собак, усадьба погрузилась во тьму.

Хозяин в спальне рассказывал жене, как он за день без нее соскучился. Татьяна ходила возле Ванькиной двери, погрызаясь и не решаясь в нее постучать. Ванька слушал ее шаги и вздохи, успокоенный тем, что дверь у него закрыта на ключ.

Глава XI.

Песни про коней

Юра Михайлов с управляющим возвращались из табуна на усадьбу. Ванька слегка натягивал вожжи, чтобы кобыла в радостном одурении не разогнала телегу на спуске.

Учеба в городе, а главным образом экзамены, вытянула из студента соки. За год он не окреп и не подрос, оставшись худеньким, щуплым подростком с неоформившимися чертами круглого личика, с редкими веснушками на носу и щеках и любопытными мальчишечными глазами. Принимая его на практику, Семачий подумал, что парнишке скорее нужен курорт с водами, грязями и физиопроцедурами, но тут же решил, что горячая степь и вольный воздух восстановят здоровье парнишки не хуже лечебницы с санаторием. Не имея детей в свои сорок с привеском лет, Семачий поймал себя на отцовском чувстве к сыну завклубши. Приезжая на табун, где Юра проходил практику, он, точно коня, ощупывал студента взглядом и находил, что тот здоровеет и крепнет.

Юра целый день пропадал в степи, выполняя назначения приезжавшего из города ветеринара. С сумкой через плечо, в светлой панаме, он был бы похож на пастушка-подпаска, если бы не серьезность вида, с каким он из большого шприцаставил прививки животным, уже зная по кличке и внешнему облику каждую лошадь. Эту работу с ним разделяла жена хозяина, бывшая врачом-терапевтом по специальности и увлекшаяся ветеринарией. А с управляющим Ванькой Юра подружился сразу же, как пришел на ферму.

— Ты какую-нибудь песню о конях знаешь? — спросил Ванька, раззадоренный быстрой ездой, широким простором и по-вечернему ласковым солнцем.

Юра наморщил лоб, вспоминая.

— Знаю одну, и то не всю, а несколько строк.

— Ну давай, — сказал Ванька.

— Что, петь что ли? — застеснялся подросток.

— А что, по-твоему, еще в степи делать?

Насмелившись, Юра негромко и протяжно вывел:

Ты, конек вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...

— Хорошо! — похвалил Ванька. — А дальше?

— А больше в ней про коня ничего нет.

— Ладно, тогда я, — сказал Ванька и с таким радостным чувством начал, что даже кобыла шарахнулась:

Ой вы кони, вы кони стальные,
Боевые друзья, трактора,
Веселее гудите, родные,
Нам в поход отправляться пора.
Мы с железным конем
Все поля обойдем,
Соберем, и посем, и вспашем...

— Вань, ты о каких конях поешь? — подавшись вперед, захохотал Юра.

— Как о каких? — на полном серьезе начал было Ванька, но, сообразив, тоже засмеялся. — Ты посмотри, — подивился он, — все песни о тройках да ямщиках, а чтоб о самих конях — что-то не припомню.

— Я тоже, — сказал Юра.

— Хочешь, я тебе самую свою задушевную, потомственную и родовую, спою?

— Спой, — кивнул Юра.

Ванька уставил глаза во что-то далекое, одному ему видимое, натянулся в струнку и, уйдя в себя, запел:

Там на шахте угольной
Паренька приветили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушка пригожие
Тихой песней встретили,

И в забой отправился

Парень молодой...

— Слышал такую песню? — оборвал он пение.

— Слышал, в кино, — сказал Юра.

— Она обо мне, о родителях, о доме. Отца уже нет, — погрустнел Ванька. — А мать живет... — Он вдруг встряхнулся, раскинул руки и торжественно произнес:

— Я привезу ее в степь! Я покажу ей коней!.. Я спою для нее нашу песню!

Потом осел и будничным голосом спросил:

— Как ты думаешь, я это сделаю?

— Не знаю, — осторожно сказал Юра.

— Не сделаю, — с сожалением признал Ванька. — Но навещу обязательно, как только хозяин пошлет меня в дальнюю командировку.

— А он пошлет?

— Обещал. По заводам — приглядеть технику, и в Башкирию — научиться делать кумыс. Он собирается на будущий год завести кумысный цех. Вот бы тебе попить кумысу, сразу поздоровеешь, а то ты заморенный какой-то. Кормим, кормим, а в деревню сходишь — и как воду на тебе повозили. Что там у тебя за дела? Живи лучше в усадьбе. Хозяин рад будет. Хочешь, со мной в комнате поселись? А хочешь, отдельно — углов в доме хватает. Сенокос начнется — поработаем, попоем песни. Есть у тебя любимая? Такая, чтобы жизнь зажигала?

— Если ты про песню, то нет, — улыбнулся Юра. — А если про девушку — есть.

— Вот отчего ты замученный! Как же я сразу не догадался! — Ванька даже подпрыгнул в телеге. — Кто она?

— Леночка Сударь.

— Триединая? Ну, понятно тогда. Здоровая, небось, телка.

— Раньше с меня была, сейчас на полголовы выше.

— И в полтора раза шире, — предположил Ванька. — Как же вы ходите?

— Мы не ходим уже, прячемся.

— Из-за роста?

— Из-за любви, — покраснел Юра.

— Тяжка, отрок, участь твоя, — посочувствовал Ванька.

— Нет, давай я тебя в усадьбе укрою, отдохнешь, накопишь силенок. Жаль, кумысу нет. Я его в детстве знаешь как попил...

— И не вырос.

— Не вырос, — кивнул Ванька. — Зато песни пою. У вас в деревне песен совсем не слыхать. Глухо живете.

— Не совсем, — возразил Юра. — У нас одна женщина, она как птица певчая. Все песни знает. Какую ни спросишь — споет.

— Я бы с нею попел, — разохотился Ванька. — Как ее зовут?

— Тетя Зина Сударикова.

— Опять Триединая? В деревне других фамилий что ли нет?

— Они самые видные.

— Это я знаю. Все — как водонапорные башни. Она такая?

— В общем, да.

— И поет?

— Еще как! На все свадьбы зовут.

— Эх, я бы с нею попел.

— Она редко в деревне бывает. На центральной усадьбе живет, в сельсовете работает. Это у ее матери мастеров поселили.

— У ее матери — мастеров? — вскрикнул Ванька. — Все, я там буду! — И, толкнув Юру, чтобы подхватывал, с хмельной удалью затянул:

Раскинулось море широко...

Юра встроился ему в лад, и вместе они заливались так, что лошадь в беспокойстве прядала ушами.

Из раскрытых ворот усадьбы верхом на коне вынеслась хозяйка и полетела по лугу в обвязку, из которой не-

слось разудалое пение. Следом за хозяйкой из тех же ворот выехал хозяин. Он устремился было вдогон за хозяйкой, но потом повернулся к упряжке.

— Балдеете? — сказал, подъехав.

— Балдеем, — весело откликнулся Ванька.

— Ну-ну, — кивнул хозяин и помчался догонять жену. Ванька проводил его взглядом и задумчиво обронил:

— Полетел кенарль за канарейкой. Только зазря.

— Почему? — не понял Юра.

— Не сплетается их любовь. Поодиночке вроде как любят, а вместе не сыгрываются. Это как в дождь каждый под своим зонтиком. У меня с женою точно так было. Пять лет на одной постели проспали, а детенка не вывели.

По Ванькиному настоянию Юра остался ночевать в усадьбе. Хозяин и вправду был ему рад. Юра чувствовал от него к себе родственные токи. И у Юры к нему было ответное движение, зато хозяйка Юру смущала. От нее к нему ни одной ниточки не тянулось. Даже с Ванькой она была надменна и холодна. Королева!

— Не сомневайся, у нас все тебя любят, — говорил управляющий Юре, когда они в Ванькиной комнате укладывались по постелям.

— Кроме хозяйки, — сказал Юра.

— Что с нее взять. Она даже перед мужем на ступеньку себя подымает, чтобы и он до нее, как до вершины, тянулся. Чересчур себя ценит. У нас тут праздник был — освящение усадьбы, гостей понаехали, сплошь начальство. Хозяйка наша до того важничала, до того царствовала, сам владыка перед нею робел. В результате гости вокруг Эльвиры плясали, она проще.

— У вас тут что, две хозяйки?

— Как тебе объяснить... У нас каждый своему делу хозяин: скотница — над молоком, повариха — над кастрюлями, хозяйка — над компьютером, я — наподобие приводного ремня. Хозяин — над всеми нами. Эльвира по глупости думает, что она может его к рукам прибрать. Не тут-то было. Это тебе не совхозное время — перед начальством юбкой крутить... В общем, поживи у нас, домой ходить не захочешь. А любовь... Устроим ей передышку и поглядим, что с нею станется.

Над Юрой уже кружил сон. Засыпая, он помнил, что ночует не в своем доме, но почему-то материна корова Милка его отыскала, вздыхает рядом и тяжело переступает ногами.

— Зачем пустили корову? — спросил сквозь сон Юра.

— Какую корову? — вскинулся на постели Ванька.

— За дверью топчется.

— Это не корова, это повариха страдает.

— Из-за чего страдает?

— Женский пол. Нигде от него покоя нет. Ты не волнуйся, дверь на замке, не войдет.

— Жалко ее, — пробурчал Юра, окончательно засыпая.

— Жалко? — удивился Ванька. Под таким углом Татьяны домогательства он еще не рассматривал.

Ранним утром Ванька явился к Татьяне на кухню. Повариха ловко иссекала ножом толстый кусок мяса.

— Таня, ты могла бы по ночам не вздыхать у меня под дверью? — строго спросил он.

Татьяна насупилась, опустила голову и вздохнула.

— Я вам мешаю?

— Мне — нет, но у меня парнишка живет, и ему твои охи и ахи слышать не обязательно.

— Знаете, Иван Алексеич, какая жуть одной в комнате и в постели? Я боюсь, — пожаловалась повариха, не подымая глаз.

— Боишься — ночуй в деревне, — посоветовал Ванька.

— Что я там позабыла? — Таня в сердцах кинула нож, и он глубоко вонзился в кусок говядины. — Все, что мне нужно, у меня тут!

— Не настраивай себя, Таня, и не обнадеживай. Ничего меж нами не будет. Ты не мой идеал.

Повариха подняла голову — и вдруг горой двинулась на Ваньку.

— Вы не знаете еще, какой я идеал. Разглядите сначала, а потом говорите. Я душу на вас извела и еще изведу. О другом идеале даже не думайте, близко не подпуши!

— Боже, избавь меня! — вскричал Ванька, отступая, бо-

ясь, как бы она его не раздавила...

Когда позже Семачий вошел на кухню, повариха терла ладонью глаза.

— Ты чего-то с утра не в настроении и, по-моему, плачешь? — заметил он.

— Я, Иван Степаныч, наверно, уйду от вас, — сказала Татьяна.

— Я бы этого не хотел. Да, мне кажется, и ты этого не слишком хочешь, — проговорил хозяин, усаживаясь пить чай.

— Не хочу, но уйду. У меня судьба здесь не складывается, — жалобно проговорила Татьяна.

— Судьба у многих не складывается, но работу из-за этого не бросают, — пожал плечами Семачий.

— Когда бы еще далеко, Иван Степаныч, а то рядом, руки тянуть не надо и... и... — Татьяна всхлипнула, с трудом проталкивая слова, — как никого.

— Да-а, незадача, — посочувствовал Семачий.

Он оглядел крупное, чуть ли не лопающееся от спелости тело поварихи. Перестаивает девка, оттого и мучается. Зря Иван таким изобилием пренебрегает. А с другой стороны, любовь ее тяжкая, вечная — прискучит, а не сбежишь.

— Может, тебе отпуск взять дня на три, на пять... Пожи-вешь у родных, в деревне, отдохнешь, успокоишься.

— Что мне дома-то делать? Все мое здесь — и любовь, и жизнь. Вы бы лучше Иван Алексеичу слово сказали, меня он не слушает.

— В таких делах не словом, а чувством положено... И не в тесных стенах, а на воле, под звездами. Природа сама на подмогу выйдет. Сенокос начинаем, не упусти времечко — и не обязательно с Ванечкой.

— А мне, кроме Ванечки, никого не надо, — насупилась повариха.

— Ну-ну, — сказал, подымаясь из-за стола, хозяин, еще раз оглядывая затомленное девичеством тело и мысленно костеря Ваньку.

Глава XII.

Певунья

Зина Сударикова проснулась в доме матери на рассвете. Она растворила окна, впуская в дом утреннюю прохладу и напевая:

Если б гармошка умела

Все говорить не тая,

Русая девушка в кофточке белой,

Где ж ты, ромашка моя?

Неизвестно, что ей навеяло эту давнюю, вовсе не ее поколения песню. Может быть, белая, туманная пелена рассвета, сквозь которую не пробилось еще ни одного рубинового луча восхода. А может, это мечта ее пела, такая же, как утро, окутанная пеленой легкой грусти. Впрочем, Зина никогда не выбирала песни. Они возникали в ней сами ответом на какое-то внутреннее чувство или внешнее впечатление. Поэтому Зина никогда не знала, с какой песней встанет и что запоет в ее сердце.

Голос у нее был мелодичный, исповедальный, с перебором, будто кто внутри нащипывает струны. Слушателя это хватало за живое.

— Зина, не пой рано, мастеров разбудишь, — донесся из-за перегородки материн голос.

— Каких мастеров? — не поняла Зина.

— Мастера ночью вернулись. Выгляни в окно, во дворе телега стоит.

Зина подошла к боковому окну, которое еще не отворяла, подняла тюлевую занавеску и в туманной бледности разглядела у отцовской избы телегу и распряженную лошадь, выбирающую из телеги сено. А кроме того, увидела на крыльце отцовской избы пополам согнутую фигуру, свесившую голову к коленям и погрузившую лицо в пригоршню ладоней, так, что черные пряди длинных волос рассыпались и обвисли по сторонам.

«Спит или слушает?» — подивилась Зина, растворяя окно и продолжая петь.

Фигура распрямилась, и — Зине показалось, так близко, у самых ее глаз — глянуло на нее молодое лицо с черными, как крупные ягоды, глазами, удивленно изломанными бровями, прямым, как опущенная стрела, носом. В выражении лица не было ни тени сонливости, одно потрясенное внимание.

Зина любила нечаянных, как бы захваченных врасплох, слушателей. Ее и саму порой переборы собственного голоса расстраивали до слез. Она улыбнулась незнакомцу и опустила занавеску.

— Проснулись уже, — сказала она матери.

— Все-таки разбудила, — упрекнула мать и завозилась, вставая. Со вздохом и охом, что сна уже нет, а старые кости еще не належались, старая женщина появилась в зале, глянула на затеянную дочкой приборку и поплелась на кухню готовить завтрак. А дочка, вдохновленная присутствием слушателя, пела и пела, приковывая того к месту.

Состряпав утреннюю еду, квартирная хозяйка велела дочери умолкнуть, а мастеров позвала к столу. Они явились — оба, в Зинином понимании, — до смешного чудные. Один низенький и крепкий, с большой лысиной, другой долговязый и ломкий, в монашьей одежде. Низенький был говорлив, охоч до похвал, долговязый — молчалив и застенчив. За время завтрака он ни разу не поднял глаз не то что на Зину, но и на ее мать. Но Зинаида догадывалась, что если не глазом, то ухом он ловит каждое ее шевеление, схватывает каждое произнесенною ею слово, и все из-за очарованности ее пением.

Зине исполнилось двадцать четыре года. Крупнотелая, как и все Триединые, она была замечательна расписным, как у матрешки, лицом: яркие щеки, широкий мазок бровей, голубовато-серые радужки глаз, бантик пухлых губ иечно вздывающиеся над высоким лбом спирали крутых светло-русых завитков. Лучше всего Зина смотрится в сборчатом сарафане с прилегающим лифом, блузке с пышными рукавами и цветастом с кистями платке. В таком виде она выходит на сцену и, если песня веселая, поступивает в такт ботинком на каблуке. Без сценического костюма, в обычной своей одежде, Зина заметно теряет в облике. Фигура ее расползается, кудельки надо лбом топорщатся стружками и никакими усилиями не приглаживаются, и сама она начинает казаться чуть-чуть несуразною.

Пять лет назад Зинаида выходила замуж за баяниста, руководителя художественной самодеятельности, в надежде всегда иметь рядом с собой музыку. Но мечты ее не исполнились. На работе муж был гением концерта и репетиции, а дома обыкновенным забулдыгой и пьяницей. Зинаида стерпела бы и такого, так как была приучена к тому, что в их родове всякий по-своему с ума сходит. Но самолюбивый талант не вынес урона своего авторитета перед лучшей в округе солисткой и сам ушел из семьи. Зинаида осталась одна в маленькой квартирке, выделенной ей сельсоветом, работала секретарем в сельской администрации и пела в художественной самодеятельности, уверив себя, что в этих двух занятиях и заключено ее человеческое счастье.

От завтраков, мастера ушли со двора, и Зинаида, воспользовавшись этим, пошла прибраться в отцовской избе, где было пустовато и грубовато по старине. Удивительно еще, что отцу не стукнуло в голову поставить свое творение на куриные ножки, — наверно, не захотел оставлять себя без подполья. Тоже чудил папаша. На старости лет от семьи откололся. Во дворе возле дома избу себе срубил. Дурь не дурь, но и серьезным не назовешь. Снаружи отцова изба — как сказочный теремок, а внутри — хоромина, перегородками не поделенная, — вокруг печки хоть хороводы води. Повыначивался папаша и помер. Сыны, Зинины братья, разъехались. Зина на стороне живет. Мать одна на две избы осталась. Тоже обуза для старой.

Но сегодня Зинаида во второй избе убиралась с охотой и любопытством. Мастера уже свой быт здесь наладили. Тут и трава душистая пучками по стенам развезена, порода какая-то горкими на подоконниках насыпана. Зина зацепила щепотку из одной кучки: гладкий, как крахмал, материал катается между пальцами. Глина, наверное. Этих глин самых разных цветов и оттенков на тряпцах рассыпано, даже зеленая есть.

Зачем они им? Краски, что ли, наводить? Зина увидела еще надранную березовую кору и лыко. Рядом лежали готовые изделия: берестяные коробки, плетеные сумки, вырезанные, еще не покрашенные ложки, струганные палочки разной ширинны и длины. Зина догадалась: трещотки, свистульки и разные детские игрушки из них мастерить. Их квартиранты с голоду не помрут и на чужой хлеб не сядут. Сегодня за завтраком низенький мастер матери берестяную коробочку для рукоделия подарил. Мать была довольна. Так отцова затея с избой по-старинному нечаянное продолжение получила.

Вечером на подоконнике залы в материей избе сам со-бою возник букетик цветов в берестяном стакане. Зинино сердце встрепенулось, сладко и зыбко забилось, как не билось с самого ее девичества. В первый раз Зину не потянуло из родного гнезда в дожидавшуюся ее маленьющую квартиру.

Глава XIII.

Бессонница у хозяйки

Среди ночи чуткое ухо Ваньки уловило едва слышное шевеление в доме. Это не повариха. Она просыпается позже, и на ее шлепающие шаги Ванькино ухо не реагирует. Сейчас ее тяжелая плоть покоится на постели, и Ванька через двери и расстояния слышит ее сонные постанывания. У спящего в Ванькиной комнате Юры при выдохе точно пузырьки лопаются, иногда с легким, хлопающим звуком, что делает парнишку еще более милым и беззащитным.

Ванька вслушался, что там, наверху, у хозяев, и не поймал ни единого звука. Тогда он словно перышко вскинулся и босиком, бесшумно вышел в переднюю комнату.

Под светильником, за низким столиком, с бутылкой вина и бокалом сидела хозяйка. Ванька пожалел, что не слышал ее шагов сверху, а то бы так глупо перед нею не выскочил.

— Хорошо, что ты встал, — сказала хозяйка. — Оседлай мне коня, я хочу проветриться.

Ванька поморгал удивленно — и замотал головой:

— Нет. Сейчас ночь, вы выпили, собаки спущены, они подымут лай, всех перебудят.

— Из всего, что ты наболтал, верно лишь то, что я выпила, и то самую малость — прогулке это не помешает, — сказала хозяйка.

— Прогуляйтесь на вышку, если охота, — пробурчал Ванька.

— Верно. Как я сама не сообразила? — согласилась хозяйка и встала, собираясь прихватить с собой бутылку и рюмку.

Ванька понял, что не то подсказал. Весь остаток ночи ему придется охранять бражничающую хозяйку, потому что, когда она впадает в тоску, то становится опасна даже для себя самой. Сейчас, похоже, у нее состояние душевной смуты...

— Но там комары, — поспешил напомнить Ванька.

— Х-м, их общество мне нежелательно, — снова согласилась хозяйка и приказала управляющему:

— Бери бокал и садись.

— Лучше я пойду досыпать, — сказал Ванька.

— Неужели? — по лицу хозяйки разлились такое презрение, что Ванька посчитал за лучшее взять бокал и сесть рядом с нею.

— Неужели, — уже другим тоном проговорила хозяйка, — такую собутыльницу и такое вино можно променять на сон?

— У нас режимное хозяйство. Днем работаем, ночью обязаны отдыхать, — заметил Ванька.

— Свято ты блюдешь заповеди моего мужа. Ты все еще от него без ума? — усмехнулась хозяйка. — Я заметила, ты все время от кого-то на взведе, то от моего мужа, то от мастеров, то от мальчишки-ветеринара, — и ни разу от женщины. Ты не признаешь наш пол?

— Я влюбляюсь в людей, — сказал Ванька, — и в женщины, как в женщину, тоже могу влюбиться, только этого давно со мною не происходило.

— Но меня ты обошел чувством и как женщину, и как человека. Может, признаешься почему?

Брови у хозяйки как однажды взлетели, так на взлете и замерли, только кончики их над переносьем при нервозности чуть-чуть подрагивают. Для нее было бы лучше, если бы брови приопустились — выражение лица потеплело бы. В той неизвестности, где хозяин когда-то ее встретил, она в самом деле была королевой, и теперь королева. Но для небольшой фермы ее величие чрезсчур высоко, всякого человека низводит до уровня червяка, а это не самое подходящее состояние для влюбленности.

— В общем-то, вы мой идеал, — признался Ванька, — я должен был быть от вас без ума... Но, понимаете... Вы слишком уж королева. Не каждое чувство на такую высоту замахнется.

— Ты не так прост, Иван, как делаешь вид, — удовлетворенно проговорила хозяйка. — Мой муж, пожалуй, этого не подозревает, да и зачем, раз вы и так друг друга устраиваете. А нам с тобой больше говорить не о чем. Иди спать, Ваня.

Глава XIV. Луговая обморочь

Вся команда Семачего, кроме Эльвиры, переключилась на сенокос. Хозяин принял еще одного механизатора, сына Николая Сударя Виталю. Трактористы подготовили механизмы, Ванька соорудил две повозки для сена и вместе с Юрай на пароконных упряжках доставлял его на усадьбу, где за ангарами пастухи его скирдовали. Позже хозяин добыл пресс-подборщик, сено катали в тюки, дело пошло быстрей, и, за вычетом непогожих дней, а также отвлечений на уборку зерна, покос продолжали до осени. Но первые две недели прошли по всем правилам луговой поры: с соленым потом и азартом, с запахом свежескошенных трав и ворохами душистого сена, с жарой долгого дня и духотой ночи, с обедами и ужинами на стане и рыбаками в перерывах между работами. Ночью по очереди сторожили табор. Не обошлось и без сенокосных приключений.

Приехав как-то за сеном, Юра Михайлов, к своей радости, встретил на тaborе Леночку Сударь.

— На тебя приехала посмотреть, ты ведь совсем глаз не кажешь, — с обидой сказала она.

— Работаю, видишь, — покраснев, виновато сказал Юра.
— А ночью?

— Допоздна сено вожу, некогда забежать.

— Не соскучился, значит.

— Ну что ты!.. Знаешь, как истосковался... — Сердце его прыгало и колотилось в волнении.

— Ага... А первая-то я приехала, — в упреке изломала губки Леночка.

Юра глядел на подружку слегка снизу вверх. За дни разлуки она будто еще подросла и четче оформилась. Восхищенный ею, он даже не подумал мысленно глянуть на себя рядом с ней и оценить, как они вместе смотрятся, а потому все еще не замечал, как заметно они разошлись в развитии. И она не видела этого, а возможно, не придавала значения. Они оба продолжали представлять друг друга по первому, приворожившему их впечатлению, а для иного взгляда время не подошло.

— Ты долго здесь будешь? — спросил он с замиранием сердца.

— Пока ты меня не заберешь.

— Тогда сейчас! — с готовностью воскликнул он. — Нагружусь и поедем.

По склоненной луговине пароконка с ослабленными поводьями плелась еле-еле, пока не свернула к леску и вовсе не замерла у опушки.

Скакавший к табуну хозяин покосился на заблудившийся воз, увидел наверху два слившихся тела и проехал мимо. «Вот у кого сенокосное дитя вяжется... А у нас с женой луговой ночки так и не вышло. То сено колется, то букашка щекочет... Городская изнеженность не переносит сельской романтики».

Глава XV.

Поражение лесной нимфы

Эльвира выехала из усадьбы на велосипеде с загруженным багажником. Предоставленная на время сенокоса самой себе, она без стеснения набивала сумку. Но вот уже и луговое напряжение ослабло, и хозяин чаще бывал в усадьбе, а хозяйка и вовсе в луга не наведывалась, однако Эльвира никак не могла ограничить себя, каждый раз зарекаясь, что эта тяжелая сумка последняя.

Эльвира была уже возле трассы, когда навстречу ей из деревни вынырнула верховая фигура хозяина. Скотница живой закрутила педали, чтобы хозяин неглядел, что она везет что-то тяжелое.

Подъехав к ней, Семачий заулыбался, попридержал коня — явно хотел поговорить. Ей тоже пришлось остановиться. С велосипеда она сошла на неудобную левую сторону — чтобы загородить от его взгляда багажник. Любезничать с хозяином ей всегда нравилось, а сейчас она и вовсе постаралась отвести ему глаза. Но увлеклась настолько, что потеряла осторожность, в забывчивости оперлась на велосипед, как на что-то устойчивое, и он поплыл, отъезжая. Цепкие руки Эльвиры сумели не выпустить руль, но всего велосипеда не удержали. Он рухнул задним колесом. Из привязанной к багажнику сумки ручейком потекло зерно. Хозяин поглядел на ручеек, на набежавшую кучку зерна, и глаза его подернулись пеленой огорчения.

— Не к лицу красивой женщине обременять себя тяжестью. Сказали бы, что у вас груз, я бы подводу дал. — Хлестнул коня и ускакал.

Эльвира тупо смотрела на растущий бугорок, видя в нем знак своего поражения. В другом таком случае она бы нашла что сказать и как вывернуться. Но сейчас дело касалось чувства, и Эльвира пала духом, как неопытная девчонка. Дело не в том, что просыпалась горстка зерна, и не в том, что хозяин это увидел, а в том, что невозвратной птицей улетела его любовь, и ей было невыразимо жаль этого.

Дома Семачий выбрал из компьютера данные за весь срок, что скотница работала у него. Показатели каждого дня и каждого месяца были замечательны. За колонкой цифр проглядывало честолюбие, деловое рвение и талантливость этой женщины. Великолепна, чертовка, если учсть, что при всем том она еще водит его за нос. Умелая баба, нечего тут не скажешь.

С выборкой цифр Семачий пришел в сепараторную, где Эльвира священнодействовала над молоком.

— Я доволен вашей работой, — сказал он.

Эльвира заглянула в распечатку, которую он держал в руках, и кокетливо спросила:

— А мной?

— Вами в первую очередь, — улыбнулся он, с приятностью сознавая, что не кривит перед нею душой. В крахмальном халате, с открытой, красиво выпукленной шеей, она была соблазнительно хороша. А на стерильно-кафельном фоне отделанной Ванькой комнаты смотрелась неподражаемо, затмевая в эту минуту даже Ольгу. Эльвира нутром почуяла его душевное колебание и, не раздумывая, пошла на захват.

— Почему бы нам не стать ближе? — Она придинулась и обняла его.

— Только в делах, — сказал он, снимая ее руки со своих плеч.

— Любовь делам не помеха, — попыталась она высвободить сжатые им кисти.

— Но не у нас с вами, — отпустил он ее руки.

— А у нас с вами что может мешать?

— Сопутствующие намерения.

Эльвира поняла, что он имеет в виду, и уязвленно вспыхнула. Кончик носа ее хищновато загнулся. Этот маленький, предательски показавший себя недостаток ее безупречного лица вызвал в нем прилив жалости к разгаданной им женщине. Она по виду Семачего догадалась, что в расстроенном состоянии что-то в своем облике теряет, и постаралась изменить выражение лица. Черты ее округлились, и крючочек спря-

тался. Но Семачий уже прорисовывал его в памяти и знал, что всегда теперь его разглядит.

— Вы распалили во мне огонь и не даете ему выхода, — горько сказала она.

Семачий бережно, чтоб не обидеть ее самолюбия, стал разъяснять:

— Что касается работы, я всегда шел навстречу вашим желаниям. Разве я вам плохо плачу? Разве не смотрю на ваш подсобный цех, как на самый важный в хозяйстве?

— Это не то, — покачала она головой. — Я другого от вас хочу.

Перед ним снова стояла роскошная, охваченная желанием женщина. В эту минуту она была искренна и, пожалуй, бескорыстна, но колдовала, чаровала и дурманила без зазрения совести. «Ивана Семачего этим не возьмешь, и ты, Ленька, тоже держись», — подстегнул он себя.

— Вы рискуете потерять это место, Эльвира. Моя жена не только любимая женщина, она компаньон.

— Мне нужны только вы. На остальное плевать. — Она сама запуталась в своих чарах.

— Ну а мне нет, — жестко произнес он. — Боюсь, что я сам вас уволю, если вы не оставите своих притязаний. Вы красивая женщина, но для меня вы не стоите ни моей жены, ни фермы. Впредь думайте, что говорите.

Эльвира моргнула, приходя в себя, и зябко поежилась.

— Извините, — сказала она, — что приняла хозяина за мужчину, а себя вместо работницы женщиной показала.

И опустила голову, ожидая решения своей участи.

— Мне, Эльвира Ивановна, приятно сотрудничать с вами и приятно держать перед глазами такую красавицу. Если вы согласны оставить наши отношения на этом уровне, то давайте работать дальше.

— Я согласна, — тихо сказала Эльвира.

— Тогда давайте обсудим еще один вопрос. К сожалению, не совсем приятный для вас.

Семачий заглянул в бумагу с цифрами и сказал:

— Я сделал разноску предположительной экономии фурража за последние месяцы...

— Откуда вам знать, сколько его оставалось? — перебила она, беря у хозяина распечатку и пробегая глазами по цифрам.

— Вы же среди людей работаете, Эльвира Ивановна, — с улыбкой напомнил он.

— За мной шпионили?

— Как хозяин, я должен знать, что в моем дворе делается.

— Что ж раньше-то молчали? Проверяли на честность?

— В какой-то степени я допускал, что для вас это законный прибыток: показатели-то у вас отменные. Мне интересно другое, как вы его получаете? Обсчет ведь на каждую голову — ни больше, ни меньше необходимого.

— Тут никакого секрета. Я по опыту знаю, где хватит, а где надо прибавить. Ну и отходов не допускаю. В общем, это мои достижения, — сказала Эльвира.

— Я их признаю, уважаю и хочу внести в договор. Семьдесят процентов экономии — при хороших, понятное дело, результатах — ваши, тридцать — мои. Получать будете раз в месяц, квартал или как вам понравится, вывозить на подводе. Само собой, всю экономию в сводку — ежедневно и обязательно. Вы с этим согласны?

— Да уж конечно, — ядовито усмехнулась она. — Мне теперь, как конторской служащей, только губную помаду в сумочке можно держать.

Глава XVI.

Ночное купание

Душной июльской ночью в растворенное окно не пробивается ни малейшего дуновения. Занавеска, любовно повешенная Зинаидиной рукой, не колеблется. Привычный к любым условиям Бурко спит и похрапывает. А у Петини от духоты и назойливых мыслей бессонница. Он ворочается с боку на бок, вздыхает — ни сна, ни облегчения. Измучив себя и измаявшись, он зовет спящего:

— Брат! Брат Симеон!

Бурко резво вскакивает, будто и не спал вовсе. Свешивает ноги с полатей.

— Что такое? — всполошенно откликается он.

— Меня образ покинул, — страдая, признается Петиня.

— Как покинул? — спросонья не очень соображает Бурко.

— Ушел... Вместо него — ее образ.

— Богородицы? — зевая, спрашивает Бурко.

— Зинаиды, — произносит Петиня.

У Бурко враз проходит зевота.

— Что ты глаголешь, отрок? Как же без образа церковь ставить? Исторгни, исторгни дьявольское наваждение! Прости Господи про хорошую женщину так сказать, но это дьявол тебя искушает.

— Я тоже думал, что дьявол, а теперь сомневаюсь.

— Кто же тогда?

— Чаю, сам Господь через образ Зинаиды посыпает мне откровение.

— Образом простой женщины церковь ставить? Опомнись, отрок, какие речи ты говоришь? — возмутился Бурко.

— Господь знает, что делает, — тихо молвил Петиня.

— Ох-ох, отрок, не вовремя пришло твое время. Ишь какими бреднями себя опутал, — всепонимающе вздохнул Бурко. — Это не Господь тебе посыпает, это твоя собственная плоть тебя морочит. Не Божественное провидение, а мирской соблазн. Победи его, отрок, победи! Восстань духом над земною юдолью!

— Не верю, брат, что в твоих словах правда. Почему, когда явится ее образ, на душе благолепно и осиянно, как в храме?

— А образа Господня в том храме нет, — напомнил Бурко.

— В том и мученье, — поник головою Петиня. — Денно и нощно прошу Господа знак мне подать — во гневе иль благодати воздвигает между мной и собой обожествленный образ простой женщины?

— Смел ты в суждениях, отрок, и дерзостен, а ведь того, что ты говоришь, не должно быть. Мы Божьи люди, и никакой иной любовью, кроме любви к Господу, без его дозволения соблазняться не можем. Или ты полагаешь, что дозволение снизошло?

— Надеюсь, что снизошло. В образе Зинаидином оно дано. Только не могу разобрать смысла, в него вложенного.

— Не обмануться бы нам, отрок? Ты — мои глаза, я — твои руки, грех на обоих падет, — покряхтел в сомнении Бурко. Потом предложил: — Давай-ка сходим на реку. Проточной водой тебя окроплю, крестное знаменье положу — авось, тебе полегчает.

В два часа ночи натрудившаяся за день деревня уже крепко спит.

Осколок ущербной луны не высвечивает всего пространства. Тени от домов и кустарников угольно-черные. Огороды, дворы и пустыри тускло светлеют.

Мастера шли по улице в белых холщовых рубахах, в каких укладывались спать, босые и беспоясные. В тени они пропадали вместе с неяркой белизной своих рубах, в просветах блекло высвечивались.

На реке в открытых местах было светлей, чем на улице, но тут мастера, к своему неудовольствию, обнаружили, что они не одни. Под мостом на глубинке плескались и взвизгивали полуночничающие молодки.

Осторожно, из-за кустов, как были в рубахах, мужички начали входить в воду. Их не только увидели, но и узнали, потому что из-под моста разудало закричали:

— А-а, божьи люди, и вам по ночам не спится? Идите к нам, мы вас ополощем, а заодно поглядим, какие из святых мужики!

— Кыш, бесовское наваждение! Крестное знаменье на вас, — наложил Бурко крест в сторону купальщиц. — Рассыптеся в прах!

— Сам рассыпься, козел плешиый, — вместе со смехом раздалось в ответ.

Бурко торопливо повел Петиню подальше от моста, за ракитовые кусты.

В это время на вершине горы вспыхнули огни едущей из города машины. Купальщицы загадали и полезли из воды.

Заходя за кусты, Бурко оглянулся. Две то ли девки, то ли бабенки во весь рост, в чем мать родила, стояли на перилах моста, облитые светом фар, и дожидались, когда машина подкатит поближе. Перед ее носом они рыбками нырнули в воду. Машину из стороны в сторону пошло бросать по мосту, но, видно, водитель взял себя в руки, потому что поддал газу и понесся в ночь от греха подальше. Русалки под мостом заливались хохотом.

Петиню, по счастью, не видевшего этой срамоты, Бурко обрызгал водой за ракитами, молитвенно начитывая при каждом омовении:

— Выведи, отрок, из души смертный образ, как хочешь себя изломай, а выведи! Неужто не понимаешь, какая это деревня? Без святой церкви и Господня благословения греха тут не перебороть. Образ простой женщины против него бесполезен. Не соблазняй себя, не вводи в искус мене и не заблуждай Господа. Вот тебе очищение от обманчивых помыслов. — Бурко вылил на темя стоявшего перед ним на коленях юноши сдвоенную пригоршню речной воды.

Петиня закрыл руками лицо и, нагнувшись чуть ли не до самой воды, надрывно заплакал.

Заслышиав его рыдания, купальщицы примолкли, к ним вернулсястыд, и они молчком пошли из воды.

После этой ночи Петиня стал на рассвете ходить в клуб и при первых разливах зари расписывать стены. Работал он недолго, всего час с небольшим, пока красный колоб солнца не расплескает по земле золотого сияния. Вслед за тем художник складывал в сумку инструмент и, не глянув на сделанное, шел к церкви, где его ждала основная работа. Приходившая позже Катерина подолгу стояла возле Петинных рисунков, разгадывая их, как ребусы, и не умела понять. Однажды она затащила в клуб Бурко и спросила его, что пишет Петиня.

— Цветы, — угрюмо сказал Бурко, косясь на стену.

— А мне кажется — это не просто цветы, — покачала головою завклубша. — Это как ночные знаки, за ними скрытая музыка,

— Мы церковные мастера, нам не пристало работать светское. Отрок забывает, — отговорился Бурко.

— Не забывает, а изливает душу. Ты знаешь, о чем?

— Чужая душа потемки.

— Но не его душа для тебя, — возразила Катя.

— Эти цветы мы видели, когда ездили в лес. Отрок перенес их сюда. Вот и весь сказ, — уклончиво проговорил Бурко.

— Ты, Семен, неоткровенный человек. Петя куда откровенней. В этих рисунках его душа надвое разрывается, сама с собой берется и страдает. У меня от них тоже сердце стонет. Разве можно человека лишать любви? Это ты, Сеня, его мучаешь?

— Я не даю ему сбиться с пути истинного.

— Ты, Семен, холостой человек? — пронзительно глянула на мастера завклубша.

— Вдовий, — остолбенел он от суровой сини ее взгляда.

— И дети есть?

— Были.

— А теперь что же — нету?

— Кто его знает, разошлись наши жизни. Они в миру увязли, а меня по земле понесло, церкви ставлю где нужно. Отрок мне вместо сына и брата.

— Сам, выходит, познал, что человеку положено, а мальцу перекрываешь дорогу? — сказала Катерина. — Глянь на рисунки — с любовью он борется, с любовью. Да разве бороться с ней надо? Она как дар Божий для человека!

— Дар Божий? — изумился Бурко. — Неужели взаправду дар Божий? Он что-то похожее говорил, да я ему не поверил.

— Почему не поверил? — Катерина жгла его осуждающим взглядом синих глаз.

Бурко оробел и поспешил объяснить:

— Я простой человек, а он не простой, Господом озаренный. Душа его перед Богом обязана быть чистой и непороченной.

— Разве любовь порок?

— К Господу не порок, — тяжело шевельнул он губами.

— А к человеку порок? — морозила взглядом завклубша.

— Так церкви же ставим. Единым чувством положено!

— А двойным — к Богу и человеку — нельзя?

Бурко тряхнул головой, сбрасывая оцепенение.

— Хитроумная женщина, ловко подъехала! — засмеялся он, потирая лысину снятым картузом.

— Не все же вам одним, божьим людям, народ просвещать. По долгу службы я тоже работник культурного просвещения. Это не значит, что клуб с церковью бороться должны. Не то время. А поладить мы можем и постараемся, — посветлела в улыбке завклубша. — Вот Петя доброе дело для клуба делает. Молодежь на его рисунки заглядывается. Вроде бы просто цветы, а присмотришься — дух захватывает. И сквернословить не хочется. Ты бы, Семен, не препятствовал парню, а больше бы понимал и жалел. Его душа на многое бы открылась, и никто в убытке бы не был.

— На грех ты нас с Питиримом толкаешь, ох, толкаешь, но тяжело устоять. — Бурко ласково глядел на женщину.

— Тебе, Семен, как простому человеку, грех не заказан, и сам ты себе его не заказывай. Заходи ко мне, как захочешь, чаю попить, заодно и калитку починишь.

— Ты вдовая? — поинтересовался Бурко.

— Разведенная.

— Нехорошо, — покачал Бурко головою.

— Нехорошо расходиться, а сходить — на счастье, — не замедлила с ответом завклубша.

— Привлекливая ты, говорливая. С моста голяком не ныряешь?

— Не по годам мне и не по должности, — усмехнулась Катерина.

— Глядишь и зайду, — намекнул Бурко, наминая во вспотевшей руке картуз.

— Хозяйство у меня небольшое, но работы в нем много, — сказала женщина.

— Работа для нас не препятствие, важно, чтоб обхождение было, — заметил мастер.

— Об этом, Сеня, не беспокойся — отстираю, отмою, выряжу, подстриги по моде — красавцем станешь, — пообещала Катерина.

— Ну и проворная женщина. С одного разговора холостяка окрутила. Ну жди, приду как ни то. — И Бурко в смущении пошел из клуба.

Петиня скоро закончил рассыпать цветы по стенам, сплести их в венки и кружить хороводом. В клуб уже не ходил. Катерина дождалась приезда Зинаиды на выходные, высмотрела ее идущей от автобуса и с порога клуба окликнула:

— Зина, зайди!

— Не сейчас, — отозвалась Зинаида из одной руки в другую перехватывая тяжелую сумку.

— Ну зайди! — настаивала Катерина с загадочной интонацией в голосе и таким же загадочным выражением на лице.

— Что у тебя? — поддалась Зинаида, направляясь к тополям, вместо того чтобы свернуть в улицу.

С некоторых пор Зинаида стала одеваться наряднее, чем всегда, и со вкусом. Но кудряшки ее по-прежнему дыбились надо лбом, будто задранные ветром. Зина определенно не умеет управляться со своими богатыми волосами. Она вообще чересчур проста. Столько времени парень у нее под боком, весь измучился от любви, а она до сих пор не прибрала его к рукам. Разве это женщина? Песни одни на уме.

— Иди глянь, что монашек нарисовал, — кивнула Катерина на открытую позади нее дверь.

В клубном зале было темнее, чем на вечереющей улице. Зинаида видела рассыпанные по голубым стенам цветы, простирали зеленых трав. Катерине показалось, что до Зинаиды не доходит спрятанный в рисунках смысл, она заторопилась объяснять.

— Этот розовый пион — ты, Зин. Он тут самый большой. А этот колокольчик с вытянутой шеей, узнаешь, кто? Смотри, как он тянется к пиону.

— Погоди, Катя, дай я сама разберусь, — остановила подругу Зина, начавшая понимать, что на самом деле представляют собою цветы.

Да, конечно, это кружево лепестков марьянного корня —

она. Как он сумел нарисовать цветок — а так похоже изобразить ее? А этот колокольчик с вытянутой шеей — и вправду он. Как потрясенно он глядит на нее! На другой стене она среди цветов красуется на лугу. Он уже ближе к ней и по-прежнему не отрывается от нее взгляда. Через несколько изображений они уже рядом. Они не наглядятся друг на друга, и они счастливы.

Зина расплакалась.

— Ты чего? — удивилась Катерина.

— Зачем он всем рассказал о нас?

— Думаешь это кому-то понятно? — успокоила подругу Зина.

— Ты же догадалась...

— Потому что я видела, в каком состоянии он писал. Но ты обрати внимание, у него каждый цветок в волнении, каждая былинка в тревоге, даже когда вы вместе и счастливы. Знаешь почему? Потому что любовь к тебе для него — ослушание, нарушение запрета. Здесь он переступает запрет, он с тобой вместе. Значит, он может сделать это и в жизни. Ты, главное, надейся, Зин. А это, Зин, кто, по-твоему? — Катерина показала на один из цветов.

Зинаиды в ответ отрицательно покачала головой.

— Это я, фиолетовый ирис. Похож на меня, правда? Только без пары. А у меня пара есть. Сказать, Зин, сказать?

Зинаиды уже не слушала ее. Она подняла с пола сумку и пошла домой. Катерине так и не удалось поделиться с нею.

Петиня ждал Зинаиду на крыльце избы, в которой квартировал. Увидев ее, он поднялся. Зинаиды поставила на землю сумку и подошла к нему.

— Я сейчас из клуба, все видела, — сказала она. — Ты правильно о нас понял. Как же нам теперь быть?

— Я напишу с тебя образ Богородицы, — опустив глаза, проронил монашек, сжимая и разжимая пальцы костлявых рук.

— Не надо, Петенька, я земная женщина, — возразила певунья.

— Я хочу показать тебя Господу, чтобы он увидел тебя такой, как я вижу.

— Но у меня никогда не было ребеночка, и ты его дать мне не хочешь, — сказала Зина.

— Без благословения Господа я не смею войти в супружество, — побелел отрок.

— Разве такие вопросы, Петенька, мы не сами решаем? Разве не для того между людьми возникает любовь? И разве на стене в клубе мы с тобой именно так не поступаем? — спрашивала Зинаиды.

— Это мое затмение, Зина. Я его там оставил. Но даже там, Зина, я не осмелился дерзнуть на супружество. Я только его желал. Подождем, Зина, высшего позволения.

— А сколько ждать?

— Я не знаю, но я верю, что оно будет.

— А до того — сохнуть в своем чувстве? Я не выдержу, Петенька!

Долговязый отрок побелел еще больше и сполз перед ней на колени.

— Люби меня, Зина, как сына, материнской любовью.

Молодая женщина горестно вздохнула.

— Мучаешь ты себя и меня, милый. Люди задом наперед не ходят, а матери женами не становятся. Не о том я загадывала и не на то надеялась. Но все равно мне тебя жалко. Люби меня, как тебе позволяет, а я своего чувства к тебе менять не буду. Как хотела делить с тобой жизнь и судьбу, так и буду хотеть. А ты уж сам смотри.

С этого дня ее песен никто не слышал, а у Петини не ложился на доску ее образ.

Симеон Бурко навестил-таки Катерину, поглядел на ее захудавшее без мужской руки хозяйство и остался чинить, да ладить, да строить заново. С Юрий они подружились, признав один другого за отца и сына. Перед таявшим свечою товарищем коротенький мастер чувствовал себя виноватым и мысленно взывал к Богу: «Испусти, Господи, на него милость свою и сними с него тягость духа и тела его».

Глава XVII.

Птенчик словлен

Ванька Филимонов остался ночью сторожить сенокосный стан. Поздним вечером при разгоревшихся звездах на телеге приехала повариха Татьяна Волоха.

— Иван Алексеевич, это я! — предупредительно крикнула она, увидев вышедшую навстречу фигуру не то с палкой, не то с ружьем.

— Ты зачем? — сырватым голосом спросил из темноты Ванька.

— Ужин привезла.

— Я уже ел.

— У меня пельмешки горяченькие со сметанкой.

— Ну давай, — согласился Ванька, полагая, что к пельмешкам у поварихи припасена бутылочка водки.

Повариха проворно выставила на таборный стол привезенные угощения, в числе которых была и бутылка.

— Растропная ты, — похвалил Иван, садясь против поварихи на скамейку.

— Я и добрая, и обходительная, — прибавила повариха.

— Ну, кто кого обойдет, — поднял Ванька наполненную стопку.

— Что это вы, Иван Алексеич, такой тост говорите, — обиделась повариха. — Я не обманывать вас приехала.

— Но и не без умысла, — сказал Ванька.

— Я, Иван Алексеич, никак вас застать не могу, чтобы о чувствах поговорить.

— Незачем о них говорить, — буркнул Ванька.

— А мне, Иван Алексеич, нужно о них сказать.

— Думаешь, я буду слушать?

— Почему бы не послушать? Времени у нас с вами целая ночь.

— Поймала, значит?

— Не поймала, а дождалась своего часа.

— И еще подожди, — сказал Ванька, выметнувшись из-за стола и прыгнув в телегу.

Татьяна выскочила следом и вцепилась в оглоблю.

— Я в деревню к Петине съезжу, подожди меня здесь, — бросил он из телеги.

— Как же вы одну-то меня оставите? Страшно мне в одиночку. Да и не ели вы, пельмени стынут, — уговаривала Татьяна, продвигаясь к телеге.

— Нет у меня аппетита при таких речах, — сказал он.

— А какие такие речи? Парень с девкой об интересе своем говорят.

— Нет у меня к тебе интереса.

— Жаль вам девушку обласкать?

— Ты посмотри на меня и себя, какая мы пара — люди от смеха животы надорвут.

— Люди будут смеяться, если мы полюбовничать станем, а если распишемся — никто и не вякнет.

— Ах, вот ты на что метишь? — обозлился Иван. — Ну, я поехал, — поднялся он во весь рост и взмахнул вожжами.

— Никуда вы не уедете, Иван Алексеич, — я подпружила ослабила, — проговорила Татьяна, крепко обхватывая Ваньку за ноги.

— Ты что делаешь, пусти — я сейчас упаду, — выкрикнул он.

— Теперь уж не отпущу, — сказала повариха, вынося милого на руках из телеги...

На рассвете повариха выбралась из сена, отвела от конны коня, натянула подпругу, перетаскала пустую посуду в телегу и, присев возле лежавшего в сене управляющего, проговорила:

— Иван Алексеич, я поеду.

— Уезжай, — сонно откликнулся он.

Обиженная его безразличием, Татьяна подождала, не приведет ли он что-то еще, и, не дождавшись, спросила:

— Иван Алексеич, как мы теперь будем?

— Как-нибудь будем, — с неохотой проворчал он.

Ответ Татьяну не удовлетворил, и она с отвоеванным за ночь правом заявила:

— Ну так я приду к вам сегодня ночью.

— У меня Юра ночует.

— Он пусть в деревню едет. Там ему хуже не будет, — отрезала она.

Ванька повернулся, всмотрелся в размытое рассветным сумраком круглое, вспухшее от бессонной и бурной ночи лицо поварихи, и оно почему-то не показалось ему ни чужим, ни неприятным.

Через несколько дней управляющий на хозяйственном джипе свозил повариху в город и привез ее оттуда в новом наряде, с тую затянутой талией. Но она недолго проходила в устройственном виде. Подошло время — и ее талия неудержимо поплзла вширь, и узкие блузки с юбками пришлось скинуть. Впоследствии талия поварихи еще дважды вспухала и за третий раз исчезла напрочь, а вместе с нею исчезла и Ванькина мечта о стройной спутнице жизни. Однако он уже о том не жалел, прихотившись к пышным прелестям дородной супруги.

При появлении признаков первой припухлости управляющий с поварихой расписались в сельсовете и обвенчались в церкви. Свадьбу играли в усадьбе. К рождению первенца хозяин поставил управляющему дом, над которым Ванька и сам в достаточной степени потрудился. Татьяна принялась дом обживать и прибавлять в нем семейство. Семачий с зависимостью поглядывал на черноглазых, черноволосых, как галчата, мальчишек и не переставал удивляться не затухающему с годами благоговейному отношению поварихи к своему мужу. Прилюдно и наедине она величала его по отчеству, как бы ставя его тем самым над собой и приучая к этому окружающих. Семачий вынужден был признать, что по некоторым позициям Татьяна выказывает себя большей королевой, чем его собственная жена.

Глава XVIII.

Поимка сбежавших коней

Семачему не везло с пастухами. В рабочее время они то и дело попадались на пьянке. Их прогоняли, заменяли другими, но и с теми происходила та же самая история. Деревня с тридцатью самогонными точками утопала в алкогольном пороке, от которого, казалось, не было никакого избавления. Семачий подумывал взять пастухов со стороны, но для них надо было держать в усадьбе жилье, чего ему не очень хотелось, и не хотелось отказывать деревне в рабочих местах. Однако последний случай пьяного разгильдяйства чуть не лишил его табуна. Гарьковый, муж самогонщицы Ульяны, уткнувшись у супруги зелье, так напился, что упустил коней. Часть лошадей, вместе с жеребцом Желудем, ушла на хребет и разбрелась там среди сопок. Сбежавший табун потом вернули, а жеребца Желудя с кобылкой Тихоней поймать не смогли. И все дни, пока их искали, Семачий был в возбужденном состоянии. В его глазах был виден охотничий блеск, ноздри вздрагивали, походка сделалась мягкой и вкрадчивой, как у хищного зверя. Жена узнавала в нем прежнего Леньку Оруджего и сама также испытывала охотничий азарт, ездила на облавы.

Несколько поисковых выездов результатов не дали. Иногда с верхушки горы преследователи видели беглых коней, мирно пасшихся в каком-нибудь из распадков. Но стоило приблизиться к ним, как Желудь уводил подругу в заросли у подножия сопок, где они терялись в кустах и высоких травах. Семачий с командой пробовали брать коней загоном, пробовали окружать с четырех сторон, подбираться по-пластунски — но каждый раз Желудь вовремя замечал опасность.

У Семачего еще более нервно вздрагивали ноздри и ярче отливали блеском глаза. Он хотел поскорее отловить коней — на свободе, среди обилия корма, они быстро дичали.

В один из дней неудавшейся ловли повариха Татьяна предложила взять на поимку ее брата Серегу.

— Он все детство за совхозными конями пробегал, знает, как их ловить.

— Ну что же, зови брата, — сказал Семачий.

В усадьбу явился молодой мужик, по-медвежьи замате-

релый, с ленивой повадкой и дремавшей без пользы силой. У него был вид деревенского увальня, простодушного и доверчивого, но которого не дай бог разозлить. Семачему брат поварихи понравился, он с охотой взял его на облаву.

На коне Серега сидел мешковато, но прочно. Забрался на него дикарским способом — схватился за холку и прыжком забросил свое тело наверх, будто и не видел стремян. Было похоже, что парень привык ездить без седла.

Выезжали со двора вчетвером: Семачий, Ольга, Филимонов и новый ловец. Заметив среди отъезжающих женщину, Серега с неудовольствием на нее покосился и кинул выразительный взгляд на хозяина, но тот всем своим видом показал, что вопрос обсуждению не подлежит.

На хребте Семачий с разных точек осматривал местность в бинокль. Коней не было видно.

— Вон они! — сказал Серега, показывая рукой на два смутно чернеющих пятнышка в горловине прохода. Семачий навел бинокль и не сразу выделил в густой тени два конских силуэта. Лошади паслись в узком распадке у подножия крутой сопки, накрытые тенью противоположной горы

— Теперь мы их возьмем, — радостно пообещал Серега.

— Да, позиция неплохая, — признал Семачий. — Перецаем выход с обеих сторон, на крутую сопку они не взойдут — словим.

— Не-а, лучше я их на хлеб приманю, — сказал Серега.

— А вы стойте здесь, а то вспугнете.

— Ты хочешь один? — поднял брови Семачий.

— Не беспокойтесь, я подберусь незаметно, они от меня не уйдут, — заверил Серега.

Ольга обдала его недовольным взглядом. Она сама жела-ла охотиться. Но Семачий доверился парню.

— Ну что ж, мы отсюда посмотрим. В случае неудачи гони коней сюда, мы их тут перехватим.

Серега слез с седла, передал поводья управляющему, перетянул висевшую на лямке через плечо сумку со спиной на живот и, как с ледяной горки, заскользил по покатому склону вниз. Въехав в высокую траву, росшую внизу, он пересек падь и побежал по противоположной стороне ущелья. Склоны холмистой гряды распадка были в основном травянистыми, у подножия — в редких кустарниках. Большие деревья росли поверху. Серега в пятнистой камуфляжной куртке почти сливался с местностью, особенно издали, и заметить его на склоне можно было только по движению. Приблизившись к пасшимся коням, он и вовсе исчез. Семачий, следивший за его про-движением в бинокль, еле отыскал ловца в траве, где тот про-бирался пригнувшись.

Кони не замечали приближающегося к ним человека. Перед косогором, где они спокойно щипали траву, Серега залег в небольшой впадинке. Передохнув немного, выглянул, оце-нивая обстановку.

Ближе к нему паслась кобылка, прикрывая собой жеребца. Стараясь не высываться, Серега низко, как мечут по воде камешки, пустил в направлении лошадиной морды подсоленный кусок хлеба, шлепнувшийся неподалеку от опущенной кобыльей головы. Косящим глазом лошадь заметила его падение и замерла, выжидая, но, привороженная запахом лакомства, с любопытством потянулась к хлебу, обнюхала его и съела. После чего задрала морду, выжидательно глядя в ту сторону, откуда прилетело угощенье.

Серега метнул еще кусок, но со значительным недолетом. Кобылка мгновенье помедлила — и пошла к приманке. Жеребец осторожно фыркнул, заподозрив неверность подруги, но та уже была во власти соблазна. Она не испугалась, обна-ружив в траве спрятавшегося человека, доверчиво приняла хлеб из его руки, далась погладить себя.

Обиженный непослушанием подруги, жеребец грозно встрихнул гривой, сердито всхрапнул и, удивленный, что занятая чем-то кобылка не обращает на него предупредительные сигналы внимания, пошел к ней подозрительной и раздраженной походкой. Притаившись в траве за кобылкой, Серега и ему кинул приманку. Жеребец на ходу ее подобрал и с возросшим подозрением продолжал надвигаться на кобылку и спрятавшегося за нею ловца. Серега успел еще раз бросить ему хлеба, но и это не смягчило гнева кавалера. Тогда Серега встал в полный рост, кормя кобылку из сумки. Взбешенный

вероломством подруги, в одиночку поглощавшей лакомство, жеребец куснул ее в тугую ляжку, отчего она с жалобным ржаньем отпрянула, и сам пристроился к сумке, сердито и торопливо поедая ее содержимое. Вернулась кобылка. Серега и к ней подвинул сумку, добившись того, чтобы они вместе ели. И только после этого осмелился погладить жеребца. Тот фыркнул, тряхнул мордой, отстранившись от ласки. Серега сделал еще попытку и еще, пока тот не перестал противиться.

Хлеб в сумке кончился. Обе лошади тянули морды к Сереге. Он попеременно их оглаживал, приучая к себе. Перед решительным действием ловец вынул из кармана припрятанный кусок хлеба, с руки скормил его жеребцу и, поглаживая ему морду и шею, зашел сбоку, оперся на холку и тяжеловатой перевалкой вскинул себя ему на спину. Пораженный таким поворотом дела, Желудь затанцевал, готовый вздыбиться. Серега наклонился вперед, успокаивая коня легким и в то же время хозяйствским поглаживанием. Поняв, что седок устроилсяочно, жеребец задрал морду и тоскливо проржал, прощаясь с утраченной волей.

— Нашел о чем горевать, — не разделил его печали Серега. — Мы все к чему-то пристегнуты, оттого и живем. А у тебя если не воля, то полуводя все-таки будет и целый табун невест.

Он поддал коню под бока, и тот сердито понес его по дну ущелья. Кобылка послушно бежала следом.

На выходе из пади Желудя и державшуюся возле него кобылку окружили. Кобылку Ванька заудсал, а жеребец занервничал, вертаясь на месте и взбрыкивая. Серега насилил его успокоил. Ольга захотела потрепать Желудя по морде, но он отпрянул.

— Своенравный, — оценил Семачий, не пытаясь жеребца тронуть.

— Сперва симпатию надо завоевать, а потом подходить, — сказал Серега.

— Ты уж завоевал? — усмехнулся Семачий.

— Слушается, — скромно ответил ловец.

— Отпусти — опять сбежит, — сказал хозяин.

— Так еще приучать надо, — пожал плечом Серега.

Ольга не отрывала взгляда от светло-карего, с песочным отливом, коня, она рассчитывала сделать его своей верховой лошадью.

Кобылку загнали в табун, а жеребца отвели в конюшню. Серега, оставленный на ферме пастухом, а потом возведенnyй в ранг старшего пастуха, насилил вызволил Желудя из усадьбы, убедив хозяина, что это лучший вожак в табуне. Вопреки желанию жены Семачий отпустил своюнравного жеребца в поле, где Серега обещал его объездить.

Глава XIX.

Леночка присматривается к усадьбе

Юра Михайлов и Леночка Сударь на возу сена въехали в усадьбу. Пока Юра, стоя на возу, перекидывал скирдовальщику сено, Леночка пошла прогуляться по двору. Был седьмой час вечера. Юра сделал последнюю ездку, и Леночка увязалась с ним, чтобы забрать его в деревню, а то он опять заночует в усадьбе. Кроме того, ее саму манила усадьба тем, что обыкновенный, давно надоевший ей сельский быт здесь выглядел как-то празднично. Сюда будто и солнце щедрей и радостней светит, и бывшие коровники под новой крышей смотрятся как хоромы. Во дворе ни бурьяна, ни мусорных куч, ни битого стекла. Приятно пахнет настоем сена, зерна и сухой навозной прели. Люди в усадьбе, даже свои деревенские, одеты опрятно, чисто, смотрят с важностью и довольствием. Отец Леночки, собираясь с утра на покос, чего попало не найдет, обязательно ему подай свежевыглаженную рубашку. И хоть целый день с тракторами и механизмами, а в засаленных штанах его не увидишь. Брат и того пуще, во всем подражает хозяину — такого франта, как он, и в городе не сыскать.

Леночка невольно оглядела себя — не помялся ли сарафан. Вспомнив дорогу сюда, Леночка с ней потянулась, пред-

ставив, что еще большая радость будет ей вечером. Но Юра что ж? Почему его чуть ли не силой нужно вытаскивать из усадьбы? Неужели любовь ему не дороже каких-то там дел?

Через открытые степные ворота верхом на коне въехала хозяйка. Леночка с любопытством стала ее разглядывать. Хозяйка спрыгнула с коня и повела его в поводу. Будь Леночка такой же худой, она бы не стала так жутко зауживаться: брюки в обтяжку, сапоги в натяжку, курточка будто облепила тело, один козырек неимоверно торчит. На стрекозу с оторванными крыльями похожа.

Осудив про себя хозяйку, Леночка тем не менее не открыла от нее взгляда. И чуть ли не вошла следом за нею в конюшню, во всяком случае, она туда заглянула, но увидела только пустые клетки. Хозяйка возилась где-то в глубине конюшни. Оттуда доносились приглушенные стуки и бренчанье. Леночка не рискнула пройти вовнутрь и вернулась во двор, подставив загорелые плечи все еще жаркому солнцу.

Выходя из конюшни, хозяйка скользнула по девочке бесподобным взглядом и сухо осведомилась:

— Кто ты такая и что тут делаешь?

— Юру жду, — сказала Леночка, наслышанная о том, что ее милого здесь любят.

Но ее слова не прибавили к холодному выражению лица стоящей против нее женщины и малой теплинки. Вероятно, не она, а ее муж любит Юру.

— Почему ты тут ждешь, а не снаружи? — так же сухо спросила хозяйка.

— Я сено с ним привезла, — с вызовом ответила Леночка. От обиды она стала нахальной.

— Разве ты у нас работаешь? — подняла брови хозяйка.

Невесть откуда вывернувший Леша Свисток поспешил девочке на помощь.

— Это дочка Николая Игнатыча Сударя, родная сестра Витали и Юрикова подружка, — разъяснил он.

Довольная такой рекомендацией, Леночка горделиво выпрямилась, как солдат перед знаменем. Хозяйка не обратила на ее гордую стойку внимания и, повернув голову к дворовому работнику, властно бросила:

— Следи, Алексей, чтоб посторонние по двору не болтались.

— В оба глаза слежу, хозяйка, чужим не даю сюда ходу, — затараторил Леша, но хозяйка, не слушая его, уже направлялась к дому. Сапожки на ее ногах играли блеском.

— Из-за тебя выговор получил, — упрекнул Леночку дворовый работник.

— Да она у вас злыдня! — в сердцах выпалила Леночка.

— Ш-ш! — прижал к губам палец Леша. — Не твоё дело. Приехала с дружком — возле него и держись, не тыкайся по двору.

— А если хочется посмотреть?

— Дружка попроси. Он с хозяйствского разрешения по усадьбе тебя поводит, покажет, что тебе интересно.

— И дом тоже? — воодушевилась Леночка.

— Про дом не скажу. Туда не каждому дозволяется. Хозяйка увидит — может рассердиться, — покачал головой Леша. Нахмурившись, добавил: — Ты, когда с хозяйкой-то разговариваешь, сиськи на нее не наставляй, а то больно красуешься перед ней.

— Я сиськи наставляю? — не смущалась Леночка, слыхавшая от деревенских и не такие еще обвинения в свой адрес. Защитно подобралась в готовности укоротить язычок деду, но тут услышала смех. Обернувшись, увидела скотницу, очевидно, давно за ней наблюдавшую.

— Тетя Эля, — обратилась Леночка к ней за содействием, — вы видели, наставляла я сиськи?

— Не знаю, наставляла или от природы они у тебя такие, — улыбнулась накрашенными губами Эльвира.

Леночка поняла, что должна обелить себя сразу перед обоими. Она повернулась к дворовому работнику и немилосердно его отчитала:

— Отживший человек, дедушка, а о таком думаете, да еще говорите! Постыдились бы своего возраста.

Повернулась и направилась к скотнице.

— Нате-ка, и от шмыгальки выговор схлопотал, — ошарашенно проворчал Леша и с ехидцей прибавил: — Ишь ты,

новая монета сыскалась! Поглядим, как сотрут.

— Не твоя это забота, — обернувшись, бросила Леночка и приветливо поздоровалась со скотницей, уважительно называв ее тетей Элей, хотя на языке вертелось деревенское «Вира». Та в ответ расцвела крашеной своей улыбкой, но поразила девочку не обманчивым радушием, цену которого Леночка знала по уличной поговорке: «Вирка лыбится — козни строит», а тем, как нарядно была одета. Блузка крепдешиновая лазоревого цвета, расписанная узором, в тон блузке юбка с голубовато-зеленым отливом, золотая цепочка с кулоном на полной шее и завивка в крупных барашках. Это она на дойку пришла. Леночка ни в жизнь бы не поверила, что на работу к скотине можно так выряжаться. «А ну как не к скотине вовсе?» — с усмешкой подумала девочка, припоминая деревенские сплетни о Виркиных проделках с прежним начальством. Удивительно, но чувства уязвленного соперничества, какое Леночки неосознанно испытала к длинноногой хозяйке, к этой зрелой красавице у нее не возникло. Зато оно возникло у зрелой красавицы, увидевшей в девочке подросшую смену. «Моложе моей старшей, а уже вон как выспела», — раздраженно подумала о ней скотница и еще ласковой улыбнулась.

— Вы тут работаете? — кивнула Леночка на оштукатуренный и побеленный баз.

— Хочешь посмотреть? Идем покажу, — предложила Эльвира.

— Что я, коровников не видела? — отказалась Леночка.

— Такого, думаю, не видела.

— Коровы дома мне надоели, — сказала Леночка. — А в хозяйственном доме вы бываете?

«Вон ты куда метишь», — усмехнулась про себя скотница, а вслух проговорила:

— Конечно. Я молочное туда ношу.

— Там красиво?

— Неплохо, — умеренно похвалила скотница. — Ты у Юры об этом спроси. Он у хозяев ест и спит, пусть и тебя сводит.

— Он стесняется.

«И правильно делает», — подумала скотница, а вслух обнадежила:

— Как-нибудь и ты туда попадешь.

— Я бы здесь хотела работать, — сказала Лена.

— Но не у скотины, верно? — проницательно заметила Эльвира.

— Верно, — засмеялась Леночка. — С коровами неохота возиться. Какие еще есть работы?

— Это же ферма. Тут все работы с животными связаны.

— Если я на медсестру выучусь, меня будут сюда вызывать?

— У нас хозяйка врач, она все сама делает.

— Что же тогда еще? — озадачилась Леночка. — Я бы хотела с людьми.

— У нас все с людьми, и каждый по своему делу. Выучись на учительницу, будешь ребят на экскурсию сюда водить, — посоветовала Эльвира, цветя задушевной улыбкой и думая о будущем этой шустрой скороспелки совсем другое.

С задов двора, где скирдовалось сено, подъехал Юра. Вместе с Лешей, бывшим во дворе по всякому делу, они выпрягли коней, свели их в конюшню, сносили туда же упряжь, а повозку откатили за угол.

Из степи в ворота вошли коровы, подгоняемые сзади конником. Узнав в нем хозяина, Эльвира заторопилась:

— Застоялась, девка, с тобой, — и поплыла к хлеву, сама похожая на холеную и балованную корову.

Из конюшни выскоцил Леша и принялся загонять скотину в растворенные двери коровника. Семачий подождал, пока ленивой неторопью войдет в помещение приотставшая от стада стельная корова, заботливо оберегающая широко расположенные бока, и подъехал к одиноко стоявшей посреди двора девочке.

— Это кто к нам пожаловал? — добродушно поинтересовался он.

— Я Леночка Сударь. Юру жду, чтобы домой забрать. Нельзя же сутками его тут удерживать, — смело заявила она.

— А чего ж ты так о нем хлопочешь? — улыбнулся Семачий, вспомнив ненароком замеченную им сценку на возу.

— Каждый человек имеет право на отдых, — сказала Леночка.

— Ты его защитница? — сделал серьезное лицо Семачий.

— Он мой сосед, — пояснила девочка.

— Уважительная причина. Но почему же ты о родных не хлопочешь, их я тоже, бывает, сутками держу.

— Они взрослые, сами за себя постоят, а Юра застенчивый, о себе не скажет.

— Значит, ты защищаешь его из жалости?

— Вовсе не из-за этого, а потому что несправедливо присваивать человека только себе, когда и другим он нужен, — выразила свою претензию Леночка.

— Присваивать несправедливо, — согласился фермер, — поэтому давай сойдемся на том, что ты не будешь присваивать, когда он работает, я не буду присваивать, когда он отдыхает.

— И на лошади с ним нельзя прокатиться? — обеспокоилась Леночка.

— Прокатиться можно, а стоянок устраивать нельзя. У нас четкий рабочий режим.

— Вы еще хуже, чем ваша жена. Та только во двор не пускает, а вы целый день забираете.

— Вечер и ночь — разве этого мало, чтобы на целый день вывести моего работника из строя? — спросил Семачий.

— Вы и Юре это скажете? — расстроилась Леночка.

— Ну зачем же. Хватит того, что мы с тобою договоримся.

— Может, и договоримся, если вы не будете его задерживать.

— По летнему времени рабочий день долгий.

— Вот видите. А мне даже увидеться с ним нельзя, — жалобно сказала девочка.

Из конюшни показался Юра, щуплый, нежный, замерший в развитии мальчик. Медовое лето нешло ему в пользу.

— Иван Степаныч, я все сделал — можно я пойду домой? — сказал он, подходя.

— Иди, раз собрался, — с теплотой в голосе произнес Семачий. — О твоих правах тут уже беспокоятся, а заодно и о своих тоже.

Юра с тревогой покосился на подружку и, как необыкновенной важности новость, сообщил:

— Степаныч, это Леночка Сударь.

— Имел уже честь познакомиться, — наклонил голову хозяин, а затем для одной лишь Леночки проговорил:

— Можешь приходить в усадьбу, когда захочешь. Я скажу, чтоб не запрещали. Во всем остальном уговор остается в силе.

И дал Леше команду выпустить ребят через задние, обращенные к деревне ворота.

— Ты о чем со Степанычем говорила? — спросил Юра у Леночки, когда ворота за ними закрылись и они остались одни на пробитой в кустарниковой чаще дороге.

— Он хочет, чтобы я тебя с ним поделила, — неохотно призналась Леночка.

— Как это?

— Ну, чтоб ему день, а мне ночь.

— Он что, знает, какие у нас отношения? — У Юры перехватило дух.

— Может, и знает, какое мне дело, я делить тебя не намерена, — вспыхнула Леночка.

— Это ты ему сказала? — На его лице сквозь загар вспыхнул багровый румянец.

— Что бы я говорила такое! — обиделась Леночка. — Он сам все видит. Да перестань ты стесняться — никого не касается, какая у нас любовь. Лично мне плевать, кто и что о нас думает, лишь бы не вмешивались.

— Мы с тобой забыли про осторожность, — переживал Юра.

— Таись не таись, оно само в глаза лезет. Дядька Свисток и тотглядел. Говорит, у меня сиськи стоят. Ты этого, небось, не заметил. Не заметил, правда? — укорила она и вдруг облизалась: — Фиг ему — только ночь... Так ты меня вовсе не разглядываешь!

Леночка распустила связанные сзади на шее бретельки сарафана, заглянула под лиф и радостно объявила:

— Они и вправду стоят, иди погляди!

— Ты что? — предостерегающе вскинулся Юра.

— Тут же никого, — оглянулась подружка.

— А со стогов?..

— Подумаешь, зайду за кусты! — Она свернула за густую высокую заросль. — Вот гляди... — И откинула лиф, обнажая вздернутую, с острыми сосками грудь.

Не приближаясь, подросток по-страусиному тянул шею, вглядываясь в белые бугорки на загорелом теле.

— Знаешь, почему они стоят? — говорила девочка.

— Почему? — с трудом отлепил он занемелый язык.

— Потому что тугие. Ну чего ты стоишь? Подойди и потрогай!

— Вечером потрогаю, — проговорил он, опасаясь, что со стогов их все-таки могут увидеть.

— До вечера еще далеко.

Леночка нетерпеливо глянула на подростка и в сердцах сказала:

— Ну для чего ты, дружок? Чтобы любиться, когда приходит охота.

Глава XX.

Сельский сход

К отцу Владимиру приехали два представителя епархиального начальства и с ними светский человек, у которого был футляр с чертежами. Какое-то время они совещались в часовне, а потом отец Владимир позвал туда же работавших во дворе Бурко и Петиню.

Мастерам показали проект новой церкви, которая будет возводиться на месте старой. У проекта есть спонсор, который дает на строительство деньги. Проделанная мастерами работа зачтется и будет вознаграждена. Сами они могут остаться на строительстве, но работать должны в строгом соответствии с новым проектом.

— А куда вы денете старую церковь? — спросил Бурко.

— Ее мы снесем, она свое отслужила, — с хозяйствской бесцеремонностью заявил светский приезжий.

— Такие церкви по триста лет держатся, а эта лишь сто простояла, — заметил Бурко. На лице Петини выразилось страдание.

— У нее фундаменты раскрошились, — небрежно бросил светский.

— Фундаменты мы подведем новые, — с готовностью заявил Бурко.

— Не стоит трудов, — махнул рукой светский. — Вместо развалюхи будет новая, красивая церковь — кто от этого потеряет?

— Это ж не сапоги менять! Это храм Господень! В нем дух святый, благодать Божья. Как его ломать? — встревожился Бурко.

— Ломать мы будем зерносклад, а Божий храм строить, — авторитетно изрек духовный чин. — И вот тогда дух святый его осенит и снизойдет благодать Божья,

Отец Владимир не подымал взора. У второго представителя епархии лицо было бесстрастно. Светский гость глядел независимо, неувязки морального плана его не касались. У Петини лицо судорожно задергалось. Увидев это, Бурко затормозился высказать главное:

— Господь не снимал с сей церкви милости! Для того и нас послал ее исправить.

— Кто вы такие и откуда пришли? — одернул его епархиальный чиновник. — Документы у вас смутные, где вы их взяли — неизвестно. Бродите по земле, самочинствуете, Божьим именем прикрываетесь. Коль называете себя мастерами, оставайтесь и стройте церковь, какую требуется. Не хотите — странствуйте дальше, но за пределы нашей епархии, и в здешние дела не мешайтесь,

Долгое и худое тело Петини задрожало и забилось в сущорогах. Крепкий, как вывороченный пень, Бурко сграбастал товарища и потащил из часовни на воздух. Во дворе он положил его в тень, брызнул на лицо водой и, обтирая картузом, приговаривал:

— Не убивайся, брат, праведное дело напрасным не будет. Господь подаст знак.

Петиня, бледно-зеленый и ослабевший от конвульсий, уже не корчился, а лежал пластом в забытьи. Бурко, не уставая, обмахивал его картузом, дожидаясь, когда он придет в себя.

Петиня открыл глаза, и Бурко радостно зачастил:

— Вот и опамятаовался, вот и полегчало.. Хочешь подняться? — догадался он, видя, как Петиня водит перед собою руками. Обхватил его за плечи и усадил.

— Подай пить, — прошептал пересохшими губами Петиня.

Симеон тут же поднес к его рту чайник с водою.

— Ну что? — осторожно осведомился он, заглядывая товарищу в глаза.

— Мир должен выразить волю, — печально выговорил Петиня.

— Ну и добро, ну и ладушки, — поспешил согласиться Бурко.

— Ты не понимаешь, — Петиня тревожно взглянул на товарища. — Миру назначено решать, а свята будет только эта церковь, — и показал глазами на обреченный храм.

— Не переживай, брат, мир слово скажет, а мы ему разъясним, — обнадежил Бурко.

— Мир безволен, — покачал головою Петиня.

— Это мы еще поглядим, — ответил Бурко.

Из часовни вышла епархиальная делегация. Два духовных чина, покачивая длинными подолами, прошествовали с небольшого пригорка к воротам, не удостоив вниманием мастеров. Следовавшее за ними гражданское лицо покосилось на мужиков с любопытством и превосходством. Замыкавший процессию отец Владимир шел со смиренно опущенной головой. Усадив гостей в машину и подождав, когда она отъедет, отец Владимир вернулся во двор и подошел к мастерам.

— Смиритесь, Божии странники, у епархии денег нет на восстановление старого храма, а под новую церковь деньги даются. Какая приходу разница, старая ли церковь отстроена или поставлена новая? — Речь отца Владимира текла мерно и ровно.

— На новой церкви не будет печати святого мученичества, — ответил Бурко.

— Вы своим трудом да мы духовным обрядом совместно ее освяшим.

— Мы в делах святых не торгуемся, — выговорил Бурко.

— Истинно так, — подтвердил Петиня.

— Ну тогда ступайте к фермеру и просите его содействия. У него с владыкой дружба, — посоветовал поп.

Мастера поднялись, перекрестили мученицу церковь, перекрестились сами и побрали к усадьбе.

У Семачего во дворе уже подрабатывали ячмень. Сам хозяин на грузовике возил зерно от комбайна. Мастера дождались его приезда и вышли ему навстречу. Увидев смурного Бурко и зеленовато-бледного Петиню, фермер оторвался от дела и увел мастеров за амбар, выслушать, что они скажут.

Обычно молчавший, всецело полагающийся на разумные речи Бурко, Петиня опередил товарища и, горя черными, широко раскрытыми глазами, заговорил взволнованно и непонятно.

— Она не будет святой, потому что не знала страданий! Она не будет истинна, потому что подложна! Без судьбы и благодати она не будет нести милости! Люди не познают Господа, не понесут его в сердце, не поимеют его благословения! Она будет пустым сосудом!

Слушая сбивчивые пророчества Петини, Семачий то и дело обращал взгляд на Бурко, не разъяснит ли он сути дела. Симеон дал товарищу высказать свою боль, а потом легонечко придержал за руку. Петиня смолк, трепеща, как остановленный на скаку конь, и Бурко по порядку изложил происшедшее.

— А что — разве нельзя сносить обветшавшую церковь? — спросил Семачий, всматриваясь в потрясенные лица мастеров.

— Отчего же нельзя, если она ослабела духом и телом. Но у нашей дух закален, а тело мы поправим. Она служила

людям в годы безверия, страдала за спасение их души и Божьим промыслом сама была спасена. Она как знак судьбы для села, и знак этот рушить нельзя, чтобы не сломать у деревни ее силы, — сказал красноречивый Бурко.

— Пугаешь, Симеон? — нацелился на него Семачий.

— Ни в чем не пугаю, подлинную правду реку, — вскинулся Бурко.

— Истину говорит, — подтвердил Петиня.

— Вы то же самое служителям объяснили? — поинтересовался Семачий.

— Не смогли, — виновато понурился Бурко. — Эта новость на нас как камень свалилась и разумение отняла. Потом уж умом дошли. Да они б и слушать не стали — все у них решено.

— Церковь хоть красивую предлагают? — спросил Семачий.

— Церковь как церковь. Петиня лучше умеет, — махнул рукой Бурко.

— У Петини свой чертеж есть?

— Она у него в уме. По его представлению и я вижу. Мы старинного правила мастера — заранее секретов не объявляем.

— Как же вы без проекта строите?

— Расчет ведем, не без этого, а весь целиком образ до поры не кажем.

— Кто же, не глядя, вас нанимает?

— Ты скажи, чего тебе хочется, то мы и сделаем. Только по церквам — и ни по чем больше. В прежнее время сомнений не высказывали. По слуху о нас знали, а по архиерейской грамоте верили. А ныне, знать, не так, — Бурко покачал головой.

— Сейчас все по проекту делается, а его еще утверждать надо, — сказал Семачий.

— Без дива не будет и удивления, — поскреб плешь Бурко. — Но, видно, придется порушить правило: сначала на бумаге все обсказать, а потом сотворять в материале. Берись, брат, за карандаш.

Семачий пообещал мастерам заглянуть вечером к отцу Владимиру, а потом уже связываться с епархией.

— Говорите, народ сам должен выбрать себе церковь? — уточнил Семачий. — Это я тоже поддерживаю. Готовьте пока чертеж.

Через несколько дней, проезжая через деревню, Семачий увидел мастеров, обтесывающих бревна на церковном дворе. Близкие из помеченных деревьев они успели свалить и свозить к стройке.

— Что, не пишутся чертежи? — спросил фермер, подходя к мужичкам.

— Пишутся, — ответил Бурко, — передыхаем пока за другим делом, а потом еще писать будем, до глубокой ночи.

Петиня в беседу не вступал, сосредоточенно работая топором. Бурко, догадавшись, что у фермера есть к нему разговор, отложил инструмент и сел с Семачим на ошкуренное бревно.

— Что, ребята, у вас с документами? Они еще царского времени. Вы что, дедовы паспорта прихватили? — как бы невзначай поинтересовался фермер.

— Наши, — сказал Бурко.

— Так... И кто же это в 1867 году церкви в Пермской губернии рубил?

— Мы же с Петиней и рубили...

— В позапрошлом веке?

— А что ж, век и год в бумаге проставлены. Время какое было? Народ вольную получил. Иные разбогатели, грехи отмаливали — деньги на церкви давали. Мы с Петиней робили. В Пермской, Вятской, Костромской, Вологодской губерниях много храмов наставили.

— Но Петиня едва на восемнадцать лет смотрится, — воскликнул Семачий.

— Незрелый, верно, — согласился Бурко. — Сирота, в монастыре рос. Там какая еда — рыба да кашка, да черствый сухарик — с этакой кормежки не размордеешь. К тому же его с малышина к богомазному делу приставили, красок нанюхался — не вызрел. А я до сорока семи лет мужиковал. Как овдовел, Господь меня в Божии работнички взял, к отроку

дядькой определил. Плотницкому мастерству я его наставил, а богомазной науки от него не перенял. Зато внутренним зрением товарища проникаю, его мысли читаю, его озарения вижу. Вроде как дядька наставный, а на самом деле он голова — я туловище, он дух — я плоть, он мысль-птица — я ловец-охотник.

— Легенды какие-то, Симеон, — усмехнулся Семачий.

— Может, и легенды, — поник Бурко.

Они посидели в задумчивости.

— Ну ничего, — Семачий легкой рукой сжал Симеону колено, — сделаете чертежи, поглядим, какие вы мастера.

Бурко досадливо крякнул и с обидой проговорил:

— Чужие деньги дорогу нам перешли. И ты, Степаныч, в нас усомнился?

— Больно красиво врешь.

— А если не вру?

— И тогда врешь.

На их спор подошел Петиня и молча встал, слушая.

— Брат, Степаныч не верит, что мы с тобой в стародавние времена церкви ставили, — обратился к нему Бурко.

— Я тебе говорил, Симеон, что старым наукам веры уже нет, надо новые познавать, — только и ответил Петиня.

Спустя еще несколько дней мастера явились к Семачему. Они принесли подробный и исчерпывающий проект с чертежами и расчетами. Петиня, словно боясь, что его задумка не воплотится в действительность, в полном виде выразил ее на бумаге. Семачий и Филимонов просматривали лист за листом, дивясь Петининому искусству. Впрочем, чертежи и расчеты — это было для специалистов. Их же вниманием завладел эскиз храма. К старому зданию Петиня подвязал дополнительные постройки — придел с маковкой на крыше и башню со звонницей и остроконечной крышей, увенчанной маленькой луковкой. Само здание старой церкви Петиня тоже поднял выше и украсил его приземистым, словно репка, куполом. Обновленный храм на рисунке казался воздушным, он будто парил в вышине. Петиня раскрасил церковь голубой, под цвет неба, и белой, под цвет облаков, краской.

Сдержаненный Семачий растроганно пожал Петине руку и обнялся с Бурко. Чувствительный Ванька расцеповал Петиню, а за ним и Бурко.

Оба эскиза — Петинин и тот, что был сделан в городе, — повесили рядышком на церковном дворе, чтобы сельчане сравнивали и выбирали. Обе церкви в своих составных были похожи одна на другую. Та, которую предлагала епархия, смотрелась крепче, основательней, заземленней, обещая прихожанам держать их помыслы на здоровом уровне, не отрывая от земли-матушки. Старая церковь, преображенная Петиней до неузнаваемости, была стройней соперницы, птицей воспаряла к горним высотам, давая мысли гордое устремление, но вместе с тем была в ней какая-то незащищенность.

Люди рассматривала оба варианта, не зная, что предпочтеть. Перед эскизами встала Ульяна Гарькавая, картинно повела плечиком и заявила:

— Мне все равно, какая из них. Одну снесут, другую поставят...

— Потому что ты переселенка. Тебе ничто здесь не дорого, потому что не твоими отцами-дедами наживалось, — сказала Зинаида. — А мы коренные и потомственные, нам все свое жалко. Сотню лет село с этой церковью стоит, колхозные и совхозные годы выдержала, а теперь разрушить? Предки нам этого не простят.

— Из-за Петини ты так говоришь, — съязвила Ульяна.

— А хоть бы из-за него. Не одна я потеряю, если божьи люди из деревни уйдут.

— Что до нас, так нам никакой церкви не надо, — высказались две бывшие доярки Клавка и Шурка, прозванные в деревне Лавка и Чурка. С юных лет они прижили себе по ребенку, сейчас им обоим было уже за тридцать, они все еще видели себя невестами и никак не могли перебеситься. Это их видел Бурко, ныряющих голяком с моста.

— А вы, бесовки и нехристи, помолчали бы! — вспылили стоявшие на церковном дворе женщины.

— А помолчали бы сами! — не дали себя в обиду Лавка и

Чурка. — Думаете, вы чего-то решите? Все языки проглотите, как надо будет слово сказать!

— Чего зря балабонить? — раздались голоса. — Тут глядеть надо, где к нам в карман полезут.

— Что за беспутное у нас село? — возмутилась Катерина Михайлова. — Все порушили, одна церковь осталась. Давайте хоть за нее постоим.

— Она больше не наша, ее епархия забрала, — бросил реплику пьяненький мужичонка, приволокшийся на церковный двор ради любопытства.

— И хорошо, что не наша, а то бы мы и ее на дрова растащили, — шумела Катерина, расшевеливая негустую толпу, собравшуюся возле рисунков.

— Раз не наша, чего о ней беспокоиться, пусть хозяева сами решают, какую церковь валить, а какую ставить.

— Тебе, Бородай, и вовсе беспокоиться незачем! — осадила мужичка Катерина. — Ты и за собственных детей не беспокоишься. А мы, люди ипатьевские, у кого совесть имеется, подумать должны, прежде чем позволить нашей церковью распорядиться. Один раз мы от нее отступились, но она уцелела. Мастера берутся ее поправить. Неужели мы во второй раз отступимся?

Взбудораженные спорами ипатьевцы, не зная, на какую сторону повернуть, спрашивали совета у отца Владимира. Священника сердили попытки сельчан свалить ответственность на него.

— Перед вами два образа. Глядите и выбирайте, который вам предпочтительней. Новая церковь ничего вам стоить не будет. На переделку старой будете собирать с мира.

— Какие у нас деньги? — скучнели безработные, а богатенькие замыкались. Те, кому только бы посудачить, пытали священника:

— А все-таки, в какой из них вам приятней было бы служить?

— По духовному званию я обязан отправлять требы везде, где на то явится нужда, — отговаривался тот, не проясняя своей позиции.

И деревня, за исключением активных агитаторов за старую церковь Зинаиды Судариковой и Катерины Михайловой, не показывала склонности к какому-то мнению. Сойдутся на улице, в магазине, на автобусной остановке, перетолкуют общезвестное, а своего отношения не выскажут. До самого схода не было ясно, куда клонится деревня и клонится ли вообще.

На сход народ пришел густо, главным образом ради владыки. Стояли любопытной толпой, по-воскресному нарядные и торжественные.

Владыка приехал со свитой и архитектором. Семачий, против обыкновения, не верхом прискакал, а подъехал на джипе, так как после схода он угощал духовенство, архитектора и мастеров обедом и надо было гостей доставить в усадьбу. Бурко и Петиня пришли на церковный двор в странническом обряде, словно сразу после схода намеревались покинуть деревню. Зинаида и Катерина молчаливо и выжидательно стояли в толпе.

Сход вел староста церковной общины, бывший совхозный управляющий Дмитрий Иванович Журавлев. В своем слове владыка объяснил то, что было уже известно: старая церковь за годы небрежного обращения претерпела большие разрушения. Отремонтировать ее возможно, но для этого нужны немалые средства, которых у епархии нет. Вместо старой епархия предлагает новую церковь, деньги на которую выделяет благотворитель. Но исполнена она должна быть по проекту присутствующего на сходе архитектора. Живущие в селе мастера предложили свой проект реставрации старой церкви. Под него требуется собирать деньги. Владыка напомнил, что оба проекта были вывешены на общее обозрение, прихожане успели с ним ознакомиться, и он, в свою очередь, готов выслушать их решение и согласиться с ним, если оно будет приемлемым.

Сход в молчании выслушал речь архиерея, так и не зная, на что решиться. Среди тягостного молчания из толпы густым баском предложили:

— Ставь и ту, и другую! Обе стерпим!

— А не будет ли слишком для вас? — улыбнулся в седо-

ватую бороду владыка. Собравшиеся зашевелились и выпустили из своих рядов смуглолицую, с большими серьгами в ушах, крутобокую женщину, Любовь Шелестову, казначея церковной общин.

Рдея густым румянцем, Любка звонко выкрикнула:

— Можно, конечно, сохранить старую церковь, но по деньгам мы не вытянем. А согласимся на новую — божьи люди уйдут, без души деревня останется. Кто знает, что для нас лучше?

Поняв, что сказала надвое, не прояснив выбора, Любка в смятении задвинулась назад в толпу.

Наперед выступила уважаемая в селе старожилка Таисья Андреевна Стрельникова. Когда-то она заведовала зерновым двором, и церковное здание было под ее охраной.

Таисья Андреевна глянула поверх голов приехавшего духовенства, за чьими черными рясами возвышался печальный силуэт церкви, и певучим причетом заговорила:

— Ишь как она почернела, ишь как замучилась, матушка наша. А была светлой. Крыша у нее сверкала, а маковка горела огнем. Бывало, из города возвращаешься, на горе показешься, а она уж тебя приветствует. Увидишь ее — и ты уже дома. А еще по склону идти, пост переходить, в улицу подыматься, но все равно ты уже дома. Не служили уж в ней, она сама нам служила и нам радовалась. Вот чем была для нас наша церквушка. Теперь хотят ее повалить. Новая, дескать, лучше будет. Может, и лучше, а все же не та, что своя. В нашей деды-прадеды молились. В ней прошлое с нынешним связывается. Не можем мы от нее отступить. Мастера обещают ее поправить и достроить. Петиня вон как красиво нарисовал. Если ему доверить, церковь как новая будет. Вопрос упирается в деньги. Где их взять? Эта задача трудная, для нашего села непосильная. Но мы ведь не одни на белом свете. За нами целый ряд деревень. Все молиться сюда поедут. Мы сколько сможем внесем, они подбавят, епархия, думаю, не бросит, еще люди найдутся. Доброе дело без помощи не останется. Были б воля и желание. Давайте, сельчане, за свою церковь держаться, за Петинин проект!

Ипатьевцы загудели, не подавая, однако ж, разборчивого голоса. Стоявший ближе к часовне невысокий чернявенький мужичок, Александр Васильевич Тонких громко выкрикнул:

— Правда нынче в деньгах. На них хоть новую церковь ставь, хоть старую ладь. А мы, как жизнью зажатые, что мы можем? Ничто! Пусть решение принимают те, за которыми деньги.

— Как это — те! — загадели женщины. — Нам, что ли, своего слова сказать не положено?

— Что слово — пустой звук! — обернулся к ним Тонких.

С мягкой грацией уверенного в себе зверя к собранию вышел фермер Семачий. Толпа воронкой вобрала в себя шум и затихла, уставив глаза на хозяина усадьбы.

— Если жители Ипатьева пожелают сохранить свою церковь, я готов сделать взнос. — Слова Семачего упали в тишину спелыми грушами. Толпа еще сильней напряглась.

— Он, конечно, не обеспечит всего строительства, — продолжал Семачий, — но часть затрат позволит произвести. Кроме того, я готов выделить на нужды строительства технику и лошадей. Ну а недостающие средства придется собирать с каждого жителя, по мере его возможностей. И тогда каждый будет считать себя причастным к сохранению своей церкви и ее реконструкции.

Сход принял его слова молчанием, в котором не было ни одобрения, ни благодарности.

Побуждаемый взглядами Петини, к собранию подвинулся Бурко. Степенно и торжественно он обратился к народу:

— Люди ипатьевские, преосвященный владыка, дозвольте нам, расейским мастерам Питириму Дееву и мне, Симеону Бурко, выпрямить здешний храм до полного его состава, как многие храмы в Рассее мы срубливали и как направлены мы к вам Божьим промыслом. Со своей стороны обещаемся сладить дело по чести, высокой платы не спрашивать, а работы тонкого и искусного содержания произвести на собственный кошт.

Бурко обернулся к товарищу — так ли он сказал. Тот кивком подтвердил.

Сход вышел из замершего состояния, в какое его ввели

слова фермера, и захлопал мастеру. С разных сторон полетела крики:

— Пусть строят, не чужим же доверить!
— Божьи мастера — Божья церковь!
— А платить мы чем будем?
— Слышал, они не задорого берутся.
— И недорого где взять?
— Кормить возьмемся, а деньгами пусть епархия дает.
— Кто их кормить будет? У половины деревни жрать нечего.

— Ну, на раз, на другой у каждого същется. Дело общее, всех касается.

— Чего их кормить? Столько умеют — сами на прикорм заработают.

— Им что — работать или на прокорм зарабатывать?
— Нам дело какое? Мы за darmовую церковь стоим! С нею мороки меньше. Семачий говорит, не все даст, а остальное-то с нас тянут будут.

— А мы не дадим. Голосуйте за darmовую!

— Эй, Тонких, ты за какую церковь руку потянем?
— За епархиальную.

— Небось, твой предок на церковь давал. Тоже не задарма строили!

— Раз давал, пусть теперь мне дадут!

— Вот навязали заботу, без нас, что ли, решить не могут?

— Эх, за общее дело совсем стоять разучились! — повис над толпой тоскующий голос, и на этом церковный староста прения прекратил.

Избрали счетчиков. За новую церковь руки взметнулись густо и в основном мужские. За восстановление старой голововали в основном женщины, а так как их было больше на сходе, то и рук поднялось больше.

Владыка поблагодарил прихожан за изъявление воли, призвал и патриархов к ответственности за свое решение и сказал, что предложенная епархией церковь будет построена в другой деревне.

— Ну, повесили хомут на шею. А все бабы — ум их короткий, — досадовали мужики.

Перед лицо народа вышли церковные мастера Питирим Деев и Симеон Бурко, отвесили низкий поклон «людям и патриарху» за милостивое их решение, второй поклон отдали владыке «за святость его духовную, человеколюбие и благочестивою справедливостью», а третий — фермеру Семачему, «за христианское вспоможение и поддержку».

Сход завершился отслуженным архиереем благодарственным молебном.

При следующей встрече Бурко похвастался Семачему выданной архиереем грамотой, разрешающей им с Петиней строить в епархии церкви.

— Это у вас какая по счету? — полюбопытствовал Семачий.

— Много уже.
— С 1867 года?

— И с него тоже, — кивнул, не замечая подвоха, Бурко. — По всему расейскому Северу можем рубить церкви, и по Сибири тоже.

— Эдак вам еще на сто лет хватит работы.

— Похоже, что нет, — разумчиво произнес Бурко. — Господь в нас с Петиней хранил ремесло. А нынче все сами с усами, без нашего уменья обходятся. По всему видать, что это последний наш храм. Отступную у Господа спрашивать будем на поселение в мир. — Бурко наклонился к Семачему, хитровато подмигнул и прошептал:

— Я-то уже, не спросясь, мирской жизнью живу. А Питирим пока опасается.

— У него тоже зазноба есть? — удивился Семачий.

— Певунья одна, — выдал секрет Бурко — и уже громче, чтоб и Петиня слышал, сказал:

— Ну, раз она у нас последняя, мы в эту церковь всю душу вложим.

Глава XXI.

Застоженный сентябрь

До сентября да и в самом сентябре у Семачего еще косили и возили сено, теперь уже осенину. Стога наставили во дворе и за оградой на восточной стороне, тюки сложили в амбаре. Свезли поближе к усадьбе и заскирдовали солому. Семачий наметил продать часть сена, зерно и несколько лошадей.

Стогами заставили свои подворья и работники Семачего — трактористы Судари, скотница Эльвира, старики Волохи, родители поварихи Татьяны и пастуха Сереги, сам Серега и другой пастух.

Судари, как в совхозные времена, были теперь с зерном и сеном, довольством веяло от их двора, и Зинаида, зашедшая навестить дядьку, с порога пропела родственникам:

Как служил я у пана
Лето да лето,
Заслужил я у пана
Курочку за это.
Моя курка-щебетурка
По двору ходит да ходит,
Цыпляточек водит...

— У нас одной куркой не обошлось, — сладко потянулся брат Виталий.

— Да уж, ваше богатство всем глаза колет, — сказала Зина.

— Мы свое трудом заработали, — отозвался от стола дядя Николай.

— Зимой что делать будете? — поинтересовалась племянница.

— Зимой я женюсь, — с тем же блаженством проговорил Виталия.

— О, и невеста есть? — заулыбалась гостья.

— Будет, — пообещал Виталия. — В школу молоденькая учительница прибыла, на ней и женюсь.

— Уже познакомился?

— Познакомлюсь, какие дела.

— Куда ж ты жену приведешь? У вас вроде бы тесно, — сказала Зинаида.

— Мы молодых к тебе во вторую избу сплавим, — нашелся дядя Николай.

— У нас квартирант там живет, — напомнила Зинаида.

— Квартиранта давно пора на постель к себе перевесть, — наставительно произнес дядя Николай.

— Это только у Витальки все просто: «увидел — женюсь», а у других в таких вопросах сложности возникают, — вздохнула Зинаида.

— От простоты тоже беспутья хватает, — вступила в разговор жена дядьки тетя Аглая. — Вон Ленка наша до того Юрика Михайлова окрутила, хоть сейчас в сельсовет веди. И ведь пойдет, оглуздь, не глядя на то, что годами не вышел.

— Там пустое, — махнул рукой дядя Николай, — пока в сельсовет соберутся, Ленка в два раза против него вымахает и оглядится. Точно в куклы с ним, дура, играет. Рано выселила девка, балует... Э-хе-хе! — покачал он головой. — Во всей нашей родове по таким делам никакого серьеза. Я на Аглае из-за одного имени ее женился — ни у кого, видите ли, такого нет. Костя ледающую взял — детей не родила. Ленка, по его следам, с задохликам милуется. У Зинки готовый жених во дворе — не знает, как подступиться. Ты хоть, Виталька, по уму женись.

— В первую очередь, пап, по чувству, а там посмотрим, — пообещал сын.

Зимой Виталька в самом деле женился, но не на учительнице, а на своей же деревенской. По осени как-то прижал к себе молоденькую девчушку, а она и не пикнула. Он сильней придавил — снова голоса не подает. Сколько ни ломал — ни разу не вскрикнула, лишь теснее жалась. Дело кончились тем, что у него самого дух захватило.

— Ну, — сказал он, — не моя сила над тобой, а твоя надо мной. — И женился. Хоть и в горячке судьбу лепили, а парочка получилась удачная.

Когда напряжение в работах спало, хозяин дал Леше Свистку отгул с выходом за ворота усадьбы и деньгами по этому случаю одарил. Проходя в праздничном пиджаке и нарядной рубахе мимо подметавшего двор хозяина, Леша остановился — не скажет ли тот чего. Но Семачий шаркал метлой, не обращая внимания на бездельно стоящего возле него работника.

— Счастливо оставаться, — смущенно сказал Леша.

— Счастливо погулять, — ответно пожелал хозяин.

И сам для себя приятный, сам себя уважающий Лешаступил за ворота.

А на воле Лешу охватила растерянность. Он свыкся с двором, как птица с клеткой, и за его пределами не знал как себя вести и что делать.

«Наказал бы что или словом бы остерег», — похулил он хозяина, молчком выпустившего его из усадьбы. Во-первых, Леше не хватало товарища, во-вторых, — советчика и, в-третьих, — цели, куда, к кому и зачем идти. Понимая, что он уже не бродяжка, а хозяйствский служащий, Леша определил себе держаться в соответствии с занимаемым положением, то есть до бесчувствия не напиваться и по канавам своего достоинства не ронять. Поэтому в деревне он не отправился к самогонщикам, товар которых вызывал сомнение, а свернулся в магазин, где выпивка хоть и дороже, зато прибавляет уважения покупателю.

Леша взял две бутылки водки, копченой колбаски, рыбных консервов и полкило пряников, которые продавщица нахвалила как свежие.

По выходе из магазина перед Лешею всталася следующая задача — кого пригласить в собутыльники. Запаршивевшие мужичонки в компанию уже не годились. Надобен был самостоятельный человек для выпивки и разговора.

По улице мимо магазина шел к себе домой Константин Триединый. Леша окликнул его, а когда тот обернулся, указал на пакет. Константин все понял и кивком позвал Лешу за собой.

В садочке у Константина, за плетью дикого винограда, Леша выложил на стол содержимое пакета, включая и пряники. Поглядев на них, Константин спросил:

— Сладкое любишь? Я щас. — Он нырнул куда-то за постройки и принес небольшой бархатно-зеленый арбуз, как видно, собственного урожая. Внутри арбуз оказался темно-красным, с мелкими черными семечками.

— Видал! — крякнул от удовольствия Константин. — У вас в усадьбе такие водятся?

— У нас и не такое растет, — похвастал Леша, вгрызаясь в сочную мякоть.

— Да ну! — не поверил Константин. — Кто ж у вас этим занимается?

— Хозяин балуется, а работаем мы. На следующую весну теплицу хочет поставить. Тогда чего только не будет. Может, и лимоны будем растить.

— Надо бы посмотреть, — всерьез заинтересовал Константин.

— Приходи, я тебе покажу, — пригласил Леша.

— Я сам, — обронил тот.

— Как это сам? — встрепенулся Леша. — У нас детей на экскурсию и то по счету пускают.

— Да ладно, давай выпьем, — не захотел объясняться Константин.

Захмелев, Леша снова вспомнил о том, что он теперь не прежний жалкий бродяга, теперь он сам человека угостить может. И, распираемый сознанием собственной значимости, начал приближать разговор к возвеличению своей персоны.

— Ты почему в усадьбу не просишься? Брат и племянник еще как вкалывают, а тебя нету.

— Я же не тракторист, — прогудел Константин.

— В усадьбе всякая работа есть. Я, например, и сторож, и дворник, и конюх, и скотник, и псарь. Хозяин захочет, еще кемнибудь сделает.

— От работы не падаешь?

— За день, бывает, не присяду. К вечеру ноги гудят. Еще и ночью дозор с собачками исполняю.

— Многовато, — посочувствовал Константин.

— Я вот сейчас гуляю, а хозяин вместо меня двор метет, у скотины чистит, — заливался Леша.

— Платит хоть он тебе?

— Кормит, одевает, когда-никогда денежкой жалует.

— Эксплуатирует все же.

— Это как? — насторожился Леша.

— Заработанное на руки не дает.

— А зачем оно мне — пропивать чтобы? — дернул плечами Леша. — Я в уважении состою. Хозяин иной раз по отчеству называет. Хоть и под старость, а имя себе возвратил.

— Помимо отчества, тебя еще и дворняжкой зовут, — поддел Константин.

— Ну так что? Был-то я бомж — без определенного места жительства. Дворняжка — уже другая стать, ко двору приписанный, значит. А если учесть, что по месту жительства я еще и служу, то в этом и ты, безработный, мне позавидуешь.

— Погоди, как со двора попрут, снова бродягой заделешься, — напомнил о бренности его успеха собеседник.

— А вот это не говори! — пошевелил Леша перед Костиным носом пальцем. — Иван Степаныч — человек ответственный. Он не только скотину, он и человека обходить не забывает.

Лешино бахвальство задело Константина.

— Пасеку заводить не хотите? — будто невзначай, поинтересовался он.

— Этого я не знаю, не посвящали. А ты в пчеловодстве смыслишь?

— Маленько смысллю.

— При встрече хозяину намекни. Он до всего нового жадный, может, подхватит.

— Я уж ходил к нему наниматься, не взял, — пряча обиду, сказал Константин.

— Не увидел, значит, для тебя места, — важно подыточил Свисток.

Крепко уже оглушенный выпитым, Леша, однако же, не утратил всегдашнего беспокойства и, заметив, что купленные им на утеху пряники не едятся, тут же озабочился этим.

— Есть у тебя, Костя, во дворе ребятишки?

— Зачем они тебе? — тяжело глянул на собеседника Триединый.

— Пряничком угостить.

— Нету тут никаких ребятишек! — рыкнул Костя.

— А по соседству? — не унимался Леша.

— И по соседству нет! Чего тебя пряники каниелят? Жена чаю попьет.

— А, ну так ладно, — согласился Леша. — Чего ж сюда не позвал? Посидела бы с нами.

— Непьющая она, мужская компания ей ни к чему, — хмуро ответил Константин.

— Самим так еще лучше, — повеселел Леша, разливая по стаканам вторую бутылку.

В усадьбу Лешу притащило, должно быть, ветром, но на ногах он держался. Хозяин возился еще во дворе, заканчивая дела.

— Ну как, Степаныч, тяжелехонько без меня? — с развязностью пьяного спросил Леша.

— Без тебя, Алексей, вся работа зависла, — ответил Семачий, с улыбкой глядя, как подгулявшего работника сносит с места. — А ты как отдохнул?

— По большому счету — не очень. В другой раз не пойду.

— Отчего так?

— А дома лучше, — Леша взмахнул рукой, чтоб помочь себе жестом двинуться в нужном направлении, и его осенним листком понесло по двору.

Глава XXII.

Последнее свидание

Леночка Сударь проснулась от холода и затаившейся тишины.

— Юр, я пойду, а то мамка хватится, — сказала она в темноту, отыскивая и натягивая на себя брюки.

Ничто из мрака не отзывалось ей, а ее собственные слова упали как в бездну. Леночка насторожилась и прислушалася. Вокруг нее все молчало, даже корова внизу не шевели-

лась. Юра не обнаруживал признаков своего присутствия. Леночка почувствовала себя неуверенно — там ли она находится, где была. Да будто бы там — вокруг сено. А глохно и холодно оттого, что осень, и на дворе, небось, иней. Леночка хотела сползти вниз и, не прощаясь, уйти, как часто делала, но зловещая, замершая тишина наводила на подозрение, что Юры здесь нет. Поэтому она еще раз сказала:

— Ну я пошла, — и, не получив ответа, стала нащупывать возле себя в темноте.

Ее руки коснулись холодного тела. «Заснул, не укрывшись». Но тело было не только холодным, но и твердым. Дыхания не слышалось.

Леночка в ужасе вскрикнула, встряхнула безжизненное тело в попытке привести его в чувство. Дыхания это не вернуло.

Леночка в страхе сползла по приставленной к сеновалу лестнице, добежала до терраски Юриного дома и отчаянно забарабанила в дверь.

— Кто там? — спросил изнутри голос Симеона Бурко.

— Дядя Сеня, позовите тетю Катю! — истошно крикнула Леночка.

— Тебе чего? Она спит, — не отважился показаться в исподнем Бурко.

— Разбудите ее, дядя Сеня! — надрывалась Леночка.

Встревоженный ее воплями, он ушел в дом, и через минуту дверь открыла Катерина, принакрытая поверх ночной рубашки теплым платком.

Позади нее стоял облачившийся в верхнее Бурко.

— Ты чего кричишь? Где Юра? — недовольным со сна голосом спросила Катерина.

— Юра там, — показала Леночка на сарай.

— Ну и что?..

— Он, кажется, умер, — упавшим голосом сообщила страшную новость девочка.

— Ты чего несешь? — вскрикнула Катерина и метнулась к лестнице, приставленной к сеновалу. Бурко с фонарем в руке потрусили следом за нею.

До Леночки донеслись раздирающий душу крик Катерины и утешающее бормотанье дядьки Бурко. Не смея уйти, Леночка обреченно ждала.

— Это ты его уморила! — набросилась на девочку рассвирепевшая мать. Симеон успел обхватить ее руками и удержать. — Все лето преследовала его свою любовью! Разве он пара для такой кобылы, как ты? — Катерина пыталась вырваться из рук Симеона.

— Мы оба любили друг друга, и нам было все равно, какие мы, — твердо сказала Леночка, понявшая, что теперь она должна защищать себя.

— Ты его, потаскуха, заездила?

— Мы с ним не делали ничего, чего бы он не хотел, — не поддавалась Леночка.

— Не делали! С тебя, вон, как с гуся вода, а мой сынок умер! — вопила и бесновалась Катерина.

— Для меня — своя плата за любовь... Я беременна, — угрюмо призналась девочка.

Услышав это, Катерина перестала бесноваться и биться. Натянувшись стрункой и уже без истерики, она жестко сказала:

— Только попробуй выдрать — прокляну и ославлю. Вместо сына внука отдашь — только тогда замирюсь.

— Я согласна, — тихо сказала Леночка.

Известие о смерти Юры прилетело в усадьбу ранним утром. Семачий принял безвременную кончину парнишки как свою вину. Видел же, что тает, — а всерьез не обспокоился, не направил к врачам, нагружал работой и, может быть, этим подорвал слабое без того здоровье. О Юре он скорбел, как о собственном сыне. Горевал о практиканте-ветеринаре управляющий Филимонов, привязавшийся к нему, как к родному брату. Неутешно плакал Леша Свисток. Даже Ольга, не имевшая сочувствия ни к кому, осуждала себя, что как врач не осмотрела парня, по внешним признакам не догадалась, что у него не живучее сердце.

Деревенская же молва в смерти Юры безоговорочно обвинила Триединую Ленку, уморившую сына завклубши неумелой любовью.

В октябре Ольга уехала за границу лечиться от бесплодия. В ее отсутствие фермер с выгодой для себя продавал сено и зерно. Ванька Филимонов строил дом. Бурко и Петиня до зимы подняли церковь на новый фундамент, отчего она будто бы подросла, а по морозам на взятых в усадьбе лошадях ушли в лес валить и свозить к стройке помеченные летом деревья.

В холода лошадей по ночам уже не пасли. На рассвете выгоняли их в степь, к закату пригоняли в ангар, докармливая в помещении. Из пастухов на зиму был оставлен один Серега Волоха. Трактористы отгуливали отпуск. За скотницей до рассвета посыпалась лошадь, привозившая ее на утреннюю дойку. Эльвира работала до обеда и, покончив с делами, уезжала. Вечером коров доили усадебные — Леша Свисток, управляющий или сам хозяин.

Метельным и мутным ноябрьским днем, когда табун стоял взаперти, а в усадьбе, как в крепости, все ворота были закрыты, со стороны степи к ограде прибежал чужой жеребец черной масти с белой снеговой попоной на спине. Он призывно заржал у ворот. Из глубины двора, из-за железобетонных стен бывших коровников ему откликнулись родственные голоса. Пришлый конь воззвал еще призывнее и настойчивее. Отдыхавшие в тепле лошади отзывались лениво и разнобойно. Поняв по ответу, что они не очень желают к нему идти, чужак сделал круг по белой степи, вернулся к воротам и снова призвал запертый табун выходить на волю. На этот раз ему ответствовал только высунувшийся из калитки Леша Свисток:

— Чего ты попусту шумишь? Какой бродяга в такую непогоду гуляет? Иди откуда пришел, не навлекай беду!

(Конец первой части).